

СИБИРИАДА

ИВАН
БАСАРГИН

ДИКИЕ ПЧЕЛЫ

Сибиряда

Иван Басаргин

Дикие пчелы

«ВЕЧЕ»

1973

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2Рос=Рус)

Басаргин И. У.

Дикие пчелы / И. У. Басаргин — «ВЕЧЕ», 1973 — (Сибирриада)

ISBN 978-5-4484-3814-1

Иван Ульянович Басаргин (1930–1976), замечательный сибирский самобытный писатель, несмотря на недолгую жизнь, успел оставить заметный след в отечественной литературе. Уже его первое крупное произведение — роман «Дикие пчелы» — стало событием в советской литературной среде. Прежде всего потому, что автор обратился не к реалиям социалистической действительности, а к подлинной истории освоения и заселения Сибирского края первопроходцами. Главными героями романа стали потомки старообрядцев, ушедших в дебри Сихотэ-Алиня в поисках спокойной и счастливой жизни. И когда к ним пришла новая, советская власть со своими жесткими идейными установками, люди воспротивились этому и встали на защиту своей малой родины. Именно из-за правдивого рассказа о трагедии подавления в конце 1930-х годов старообрядческого мятежа роман «Дикие пчелы» так и не был издан при жизни писателя и увидел свет лишь в 1989 году.

УДК 821.161.1-311.3

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-3814-1

© Басаргин И. У., 1973

© ВЕЧЕ, 1973

Содержание

Глава первая. Цари и раскольники	6
Глава вторая. Таежные люди	16
Глава третья. Побратимы	34
Глава четвертая. Зеленый клин – земля вольная	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Иван Басаргин

Дикие пчелы

© Басаргин И. У., наследники, 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

* * *

Глава первая. Цари и раскольники

1

В деревне Сусанино давящая и липкая тишина. В небе палящее солнце, на земле зной. Улицы безлюдны, будто мор свалился на деревеньку или ворог стоит у ворот, а если кто и покажется, тот тут же спешит скрыться за тесовым забором. Пришло еще одно послание патриарха Иоасафа. Писал такие же послания бывший патриарх Никон, новый шлет, увещевает и грозит потомкам Ивана Сусанина, чтобы они, белопащенцы и свободные люди, подчинились бы собору и молились бы по новопечатным книгам, тремя персты, совершали бы обряды по новым уложениям.

Никита Минин, он же Никон... Его Амвросий Бережнов хорошо знал по давним встречам. Ведь они погодки. Жил ладно, просвещал народ русский. Потом его судьба пошла по крутой тропинке: умерли дети, он уговорил супругу постричься в монахини и сам постригся в монахи, приняв имя Никона...

В доме наставника Амвросия совет, собрались мужики-раскольники, чтобы еще раз обрешить эту беду. В послании прямо сказано, что откажись белопащенцы от новой веры, то лишат их свобод, земель и званий мужицких. Амвросий грузно ходил по Горнице, поскрипывая половицами, ровно говорил:

– В расколе виноват не один Никон, виноват и царь, и иерусалимский патриарх Паисий, кой убедил царя и покойного патриарха Иоасафа, что по всей земле молятся тремя персты. Может, и так, но на Руси все должно остаться как было. Русь одна, а чужеземных земель много... Паисий прикинулся незнающим и говорил еще Никону, что праведное моление в три перста. А ведь греки, что увели наших от язычества, молились двумя персты. Тройное перстосложение придумали проклятые римляне. Потому я говорю, что мы будем молиться двумя персты, соблюдать старые обряды. Но кто слаб духом, тех не зову. Пусть каждый за себя решит. Мы же будем уходить на Выг-реку и ставить там свой острог. Там уже поставили скит братья Денисовы – потомки князей Мещерских, образовали пустынь. Они зело грамотны, один из них учился в Киевской коллегии. Я получил от них свиток, зовут к себе всех гонимых, не приемлющих ереси.

Вздыхнул, потербил бороду, снова заговорил:

– Можно ли верить в те книги, которые правил Никон с брандохлыстом Арсентием Греком. Ведь Арсентий Грек, коего приветил у себя еще Иоасаф, поначалу был иудеем, потом католиком, магометанином, польским униатом, принял у нас христианство. Но был опознан и заточен в монастырь. Пришел Никон, выволок этого прощельгу, дал ему стило, и он начал править книги. Властолюбие Никона нам ведомо. Счас, сказывают, он бежал из заточения и бунтует с разбойником Степкой Разиным. Но не надо думать, что раскол начался с Никона. Он начался давно, еще с новгородцев, с Максима Грека, тоже ладный блудослов, хоша не без ума человек. Одно радуется, что народ не шибко тянется к этой ереси, идут к ней властные или совсем забитые. Но с нами такие мужи, как протопоп Аввакум, кой давно боролся и борется за благочестие в церквах, ибо там все провоняло вином и псиной. С нами боярыня Морозова, многие бояре и князья. Все эти люди хотят видеть Русь чище, сильнее. Никон же все взьерошил и похерил. Все. По домам и думайте. Сяду писать письмо царю...

Амвросий остался один. Домочадцы замерли по своим закуткам, боялись нарушить покой сурового заговорщика.

2

Царь Алексей Михайлович, прозванный в народе Тишайшим, пребывал в великой душевной смуте. Было с чего. Бунтовал народ, каждый день приходили поносные записки, то от протопопа Аввакума, то от Никиты Добрынина, от других людей. В каждой записке срамные слова, в каждом слове боль за свою Родину, за свой народ. Так ли уж прав Никон и Арсентий Грек, что нашли ошибки в старопечатных книгах? Аввакум в монастыре сидит за семью замками, а пишет и пишет, проклинает царя, новую веру, изрыгает грязную хулу на Никона...

Никита, прозванный врагами Пустосвятом, дважды принимавший новую веру и дважды отринувший ее, стоял перед царем. Сурово смотрел царь на попа-бунтаря, думал: «Если он принял новую веру и отринул, то, зная, в душе кипень, несогласие. Так от чего же?» Давит грудь гнев палочий. А Никита чистыми глазами смотрит на царя, нет в них страха. Он считает себя правым. Говорит царю: «Отрекись, царь, надежда наша, отрекись от новой веры, как я снова отрекся. Оставь народ пребывать в той вере, кою он привечал, жил ею многие лета. Аль вы не видите, что патриарх Никон ввел Русь в смуту великую, как и вас. Вы хотели тиши и песнопения, а вышло буйство. Кровя льются, спасу нет. – Упал на колени, протянул руки, закричал: – Народ свой спасите! Ибо ринет враг сюда, а воевать супостатов некому будет. Гоните Никона: он есть пес смердящий!» – «Пытать! Заставить снова принять новую веру! – топнул царь сафьяновым сапогом. – Сечь кнутом, пока не отринет старую!» – «Секите, великий царь, надежда наша. Секите. Но пусть ваши палачи в крови народной не захлебнутся!» – рыкнул Никита и поднял двуперстие.

Прав Аввакум, прав Никита, все правы, невозможно тревожить сразу то, что уложилось веками. Но назад ходу нет. Нет и не может быть! Лопнула старая вера, как переспелый арбуз, уже не склеишь, кровавым соком залила Русь. Что делать? Еще одну подметную записку принесли, писана она раскольников-белолошеником. Сыскать! В Даурию, куда был послан снова Аввакум. Нет, Даурией таких не сломишь, не усмиришь бунтарский дух. В сруб крамольника! Сжечь! Колесовать! Четвертовать!

А крамольник писал:

«Знавал я вас тишайшим царем, Алексей Михайлович, но с сего дня для нас вы больше не царь, а царь Ирод, а патриарх твой Никон – Иуда, что продал Русь ради корысти, славы и вознесения выше престола царского. Вы с ним одеша дьявольские венки, продали наши души анхристу, похерили старую веру, не вняли гласу народному. Все, кто с нами, будем воевать вас во имя единой апостольской церкви. Воевать тебя, царя, и твоих ярыг! Никон обманул тебя, как старая лиса молодого зайчонка. Денно и ночью сжигал братию на площадях и торжищах. Невозможно больше терпеть изгал великий над русским народом. Солнце стало красным от кровей людских. Я зову народ к старой вере, зову к топору, чтобы повергнуть вас к стопам народным.

Мы ждали, мы веровали, что вы, царь, созвав собор Московский лета 1667 года от рождения Христа, избавите нас от мучителей и кровоядцев. Не избавили, а прокляли дониконианские обряды. Никона, сорвав с него клобук и панагию, поучали, как смиренно жить ему надобно в простых монахах. Заточили, а он бежал к мятежнику Стеньке Разину, благословя его на дела ратные. Вот какого переметчика вы пригнали у себя. Новый же патриарх Иоасаф вам послушен, ако блевотная собака. А твой пес подподушный Паисий Лигарид дал народу правило, коего при Иване Грозном не было, будто любое нарушение закона есть противление царской власти. Вам правду сказал Аввакум, коего вы привезли на этот собачий собор, что все иноземные и русские патриархи, коих вы созвали на собор, от туретчины да от римлянства, только и знают, как продавать да как покупать, как баб блудить. И вы за это били его, сорок

человек набросились на великого мужа и праведника. Боем хотели его наставить, только наш Аввакум и боя не боится, как не боимся того боя и мы...»

Алексей Михайлович задумался, запустил руки в бороду. Вот и монахи Соловецкого монастыря прокляли его и прислали не менее злую записку. Они писали: «Ты, царь-мучитель, загубил свой народ, с кем же царствовать будешь? Ни мудрости у ты, ни душевности, не жаль тебе люда своего. Бысть концу мира. Мы не пойдем с тобой на предательство великое и проклинаем тебя. А твои новые книги порочны и грязны. Высылай свое войско поганое: мы воевати его будем, все до единого умрем за старую веру, но не примем дьявольского учения. Шли же, трижды проклятый царь, многожды нами преданный анафеме. Шли своих трусливых ратников, мы их будем бить и резать...»

И был долгий и великий бой. Семь лет воевали царские воины Соловецкий монастырь, но не сдавался он противникам. Лишь когда нашелся хриstopродавец и провел царских ярыг тайным ходом, открыл ворота, тогда и победил царь. Били всех нещадно, а кто жив остался, тот был казнен, иные были разосланы по глухим монастырям.

Но пока царь обдумывал, как покорить строптивых монахов. Он-то знал стены Соловецкого монастыря, где камни с дом, высота страшная. Не взять в лоб, не сбить монахов, у коих много пушек, пороху и разного оружия.

Царь снова взялся за чтение письма Амвросия Бережного.

«Мы не пустим в душу ересь! Не сделаем детей своих еретиками! Уйдем все в леса и болота и будем воевать тебя, Ирода!..»

Не пугали эти слова Алексея Михайловича, но больно ранили. И правы Никон и Арсентий, что исправили в старых книгах пустословие. И совсем были бы правы, ежели бы сделали это без корысти.

«Ты не царь, а народный вражина, быть тебе в аду и гореть в геенне огненной. Кровоядец ты и прелеготай! Ушел в стан турка, нас туда же тянешь. А твои патриархи с греками и турками с одного блюда едят, ако псы голодные...»

«До новой веры русские люди не ели с одного блюда с иноземцами. Никон праведно сделал, что все это отринул. Пошто же не есть с турком, аль он не от бога пришел на эту землю? Нет, они такие же люди. Такие же!» – почти кричал Алексей Михайлович, рвал во гневе бороду.

«Все вы воры, все суть – никониане. А эти звери советуют тебе, чтобы всех нас казнить и жечь, в огонь сажать зайцев Христовых. Мы, мол, не повинuemся собору. Так я был в том соборе, прости мя, боже...»

Я, белопащенец Амвроська Бережного, плюю тебе в браду и ухожу с глаз твоих, потому как ты и твои ярыги судят людей не по добру, а по соболям и серебру. Завели себе любимиц и блудят с ними и халкают водку, ако воду. А тот, кто живет в посте и молитвах, тому режете язык.

Максим Грек писал ту ересь у себя на горе Афонской, а Арсентий Грек ее переписал себе. Папа римский Петр Гунливый всю Италию возмутил, а ты и Никон – всю Россию. Возвеличили себя, поставили в один ряд с учениками Христовыми. А ты, дурень-царь, все это принял, как веление свыше...»

Алексей Михайлович низко уронил голову, глаза, когда-то добрые, чистые, были красны от гнева, что рвался наружу с криком. Но кому кричать? Того крамольника не словить, да и обличье мало кто знает его. В то же время отметил про себя, как много славных и сильных мужей ушло на плаху, было заточено в монастыри. Нужных людей. Но ведь кто-то должен был ввести новую веру, вернее, не новую, а старую чуть поправить? Если не он, то это должен был сделать другой Царь. Значит, те же проклятия сыпались бы на его голову.

«Вы даже исказили имя Христа, вместо “Исус”», пишете “Иисус”. Так пойдите в церковь Владимира, где написано и до се «Исус», а не иначе. Вы исправили слова в молитве “Богородица”...»

«Да, исправили, – мысленно спорил с противником новых обрядов Алексей Михайлович. – Зачем же так петь: “Богородица дева, радуйся, обрадованная ты Мария”. Грек правильно сделал, что написал “благодатная”. Зачем же дважды радоваться?»

«Никон сказал, что будет чистить авгиевы конюшни, а сам блудословил и стал врагом Христовым и твоим тож...»

– Экие мелочи! – воскликнул царь, поднялся и быстро заходил по Грановитой палате.

«Никон назвал бога светом, а не тьмою...»

Рванул плотный пергамент и разбросал его по палате. «Все это блевотные слова. Бить! Жечь! Собакам скармливать!» Бросился наверх, чтобы упасть перед ликом Христа и спросить у него совета, отвести гнев молитвой.

3

Амвросий Бережнов, собрав ватагу раскольников, с детьми и со скарбом, через леса и болота, мимо засек царских, продирались на реку Выг, чтобы там построить свой острог, оградить семьи от налета царских ярыг.

Не все пошли за беспокойным вожаком, за фанатиком-раскольников, многие рассудили мудро, по-житейски: если царь приказывает молиться тремя перстами, проводить обряды по-новому, то стоит ли из-за этого лишаться вольности, земель, тех привилегий, которые были даны в незапамятные времена? Кого свербит новая вера, те пусть идут, пусть гибнут, а мы останемся за ветрами истории, сохраним детей и свое хозяйство.

Амвросий приказал жечь дома, что оставались после их ухода, убивать и бросать зверям на съедение лишнюю скотину и лошадей, предателям оставлять не след.

Шли почти половину лета, десятки раз вступали в бои с царскими ратниками, чаще превосходя их силой и оружием, о котором ладно позаботился большак. Теряли детей, жен, но шли. Братья Денисовы радостно встретили раскольников: накормили, напоили, утешили и тут же отвели место для постройки скита-ostroга, снабдив пропитанием, людьми.

Скоро, даже очень скоро, эта земля обетованная стала для раскольников земным раем. Здесь все было не так, как на земле царской и боярской. Устав, который написали братья Денисовы, гласил: каждый должен работать не ради живота своего, а ради всей братии, быть равным со всеми, быть братом и другом тем, кто молится двумя перстами. Всеми делами Выговской пустыни вершил Большой собор. Он решал дела хлебопашения, торговли, обороны и приема беглых от царя и церкви. В то же время каждый скит имел своего большака, который тоже не мог решать дела без согласия вече. Большак предлагает, а вече утверждает.

Женщины были равны решать все вопросы вместе с мужчинами. Они могли быть наставницами, просветительницами, защищая старые традиции, могли вершить гражданские и церковные дела.

Амвросий говорил:

– Только люди, кои свободны в деяниях своих, не гонимые и не презираемые, могут ходить широко и размашисто. А те, кто живет под гнетом царским, кто страшится быть убитым наушниками царскими – не смогут работать во всю силу, петь во весь голос.

Широко и вольно разрасталась Выговская пустынь. Силу набирала. Затеяла торговлю с городами Руси, вела сношения с Западной Европой, даже к берегам Америки бегали щельи раскольников.

Здесь должен был учиться каждый ребенок, а который леность проявлял, того нещадно секли розгами, разум вбивали. В каждом ските были учителя, которые учили детей географии, риторике, ходить по звездам и солнцу, списанию старинных рукописей, учили иконописи и художеству. Это была колыбель первых русских писателей. Здесь писались истории государства Российского, других государств, старообрядчества. Писались сочинения полемические,

поучительные. Отсюда вышел великий муж российский – Михайло Ломоносов, прежде постигнув многое в раскольничьих скитах. Затем ушел с обозом рыбы, чтобы продолжить свое учение в Петербурге. На то было дано согласие раскольников. Ибо они видели в нем человека незаурядного, постигнувшего все, что можно было постичь.

Выговская пустынь разрасталась, она вобрала в себя все Каргополье, Онежские берега, Архангельск и другие пустошные земли. Делалась государством в государстве. И не было сил у царя Алексея Михайловича, чтобы уничтожить это осиное гнездо, одним махом сжечь в срубках ненавистных раскольников. Ему бы удержаться в Москве, смирить бунтарский дух в ближайших городах.

1682 год. Ликовали скиты и остроги – умер царь Ирод. Наследниками объявлены Петр и его брат Иван. В Москву ушло много раскольников в надежде, что им удастся убедить малолетних наследников, а с ними и Софью Алексеевну, вернуться к старой вере.

Пришел сюда и Амвросий с верными людьми, найдя приют у боярыни Морозовой. И началось. Смиренный Алексеем Никита Пустосвят снова поднимал народ на бунт. Он с друзьями ходил по Москве, на площадях и торжищах смело проповедовал, читая свои тетрадки: «Люди русские, люди православные, стойте за истинную веру, коей нет нынче на всей земле. Нет ее и в Греции, в Италии и других странах, только мы еще содержим истинную веру. Не ходите в церкви, ибо они все осквернены, не принимайте никакой святыни и молитв от священников, не поклоняйтесь новописанным иконам, не почитайте четырехконечного креста, ибо это есть печать антихристов».

Амвросий, как и его друзья, во главе с Никитой Пустосвятом носили старые иконы, старые книги, собирая толпы народа, кричали: «Люди, поднимайтесь за старую веру, ибо настанет конец мира. Только при старой вере мы будем спасены и безгрешными предстанем перед очами божьими...»

Был гвалт и бунт великий. А 5 июля 1682 года предводители раскола, отслужив молебен, взяв с собой крест, Евангелие, икону Страшного суда, икону Богородицы и старые книги, со свечами отправились из-за Яузы-реки в Кремль. За ними шел народ, стрельцы, запрудив все улицы и переулки. Много было пьяных, у каждого камень или кистень за пазухой.

Толпа ввалилась в Кремль, подошла к Архангельскому собору, и перед царскими палатами предводители поставили иконы, положили на них крест, Евангелие и зажгли свечи.

Никита Пустосвят встал на скамейку и начал читать свою тетрадь:

– «Люди русские, люди добрые, аль несть у нас сил, чтобы постоять за старую веру?»

– Есть! – рыкала в ответ толпа, бородастая, косматая, расхристанная.

– «Подымайтесь все как один против Иуды-патриарха и властей духовных! Вырвем с корнем богу противное никонианство, повернем стопы своя к истинной вере русской, что веками жила на Руси! Стребуем с соправительницы Софьи изгнать из соборов всех никонианцев! Мы – русские, а не латыняне! Вырвем!»

– Вырвем! – косорото, в фанатичной истерике орали пьяные рожи.

В Успенском соборе прервано моление. Духовенство заметалось в страхе под гулками сводами, заметалось перед вздыбленной толпой, которая могла ворваться в эти святыни и погубить всех. Из царских палат тоже раздавался плач. Царевичей поспешили увести в дальние комнаты дворца и спрятать. Ивана тряс озноб, Петр закаменел, сжав губы, давил в себе страх перед этой грязной толпой. Шептал молитвы, просил святого Николу отвести от них смерть.

Патриарх Иоаким почти вытолкал к мятежникам Спасского протоиерея Василия, чтобы он прочитал толпе написанное в ночь и отпечатанное поучение, где призывал народ повиноваться законным пастырям, не слушал бы переметчиков-обольстителей. Писал о Никите Пустосвяте, который вот уже в третий раз изменил своему слову, снова ушел в раскол. Никита Пустосвят бунтует-де народ не ради старой веры, а ради корысти, чтобы занять престол патриарха.

Но Василию и рта не дали раскрыть, его сбил с ног Амвросий и начал топтать, подскочили стрельцы, вырвали из рук тетрадь, поставили духовника на ноги, подвели к раскольным отцам.

– Ты пришел сказать народу мерзкое слово! – загремел Никита. – Аль ты не знаешь, что народ супротив тех слов? Смерть никонианцу!

– Смерть! – взревела толпа, потянулись руки к протоиерею, жилистые, костлявые, могучие. Сейчас разорвут на куски.

Но инок Сергей, тоже из бунтарей, громоподобно закричал, его голос покрыл шум толпы:

– Отпустить, пусть унесет наше слово! Отпустить!

– Смерть анчихристу! Изломать руки, четвертовать! Колесовать! Вырезать язык, как они делают с нами! – ревел Никита.

– Неможно, братия! – густо, как в иерихонскую трубу, кричал Сергей. – Неможно проливать кровь у святых стен собора! Ежели враги наши не посмели убить Аввакума в святом соборе, не должны мы уподобиться худшим, впасть в грех неотмолимый!

– Отпустить! Пусть скажет соправительнице правду!

– Убить! Им та правда ведома!

– Отпустить!

– Смерть!

Стрельцы ослабили руки Василию, он рванулся и, избиваемый толпой, бросился в Успенский собор.

Софья Алексеевна приказала позвать наследников, позвала к себе патриарха, чтобы выйти к народу. Но бояре встали стеной у дверей и начали уговаривать отправление:

– Не ходите, убьют всех вас и патриарха!

– Народ в буйстве страшней бешеной собаки!

– Они хотят попить вашей крови!

– Не пустим, хватит одного избиенного Василия.

А Кремль гремел. Орал народ, требовал диспута с никонианцами. Но к народу никто не шел.

Никита приказал взять святыни и шествовать к красному крыльцу, оттуда – в Грановитую палату. Шли с ревом, улюлюканьем, свистом. В Грановитой палате поставили скамейки, положили на них иконы, книги, требовали выйти к народу отправление, патриарха и все духовенство, чтобы начать диспут.

Софья с духовенством вышла к народу. И начался диспут, который был похож на обычную брань сварливых баб. Раскольники обзывали никонианцев еретиками, те в ответ кричали им, что они анчихристы. Рев, а порой и драки. Стрельцы, потрясая алебардами, мушкетами, требовали вернуться к старой вере.

Софья Алексеевна хоть и была бледна и испугана, но сумела-таки усмирить обе стороны, пообещав пересмотреть некоторые обряды, хотя бы венчание царей не на пяти просвирах, а на семи. Раскольники вышли из Грановитой палаты с высоко поднятыми двуперстиями, кричали о победе, о возвращении на Руси старой веры.

Петр, который смотрел через верхнее оконце в Грановитой палате, сказал: «Пока венец на главе моей и душа в теле моем пребудет, не допущу невежд церковь воевати!..» Петру было тогда всего десять лет.

В Москве дикий разгул толпы. Трещали лавки, горели дома: раскольники грабили и убивали супротивников...

Но скоро Никита Пустосвят и его сообщники были схвачены и четвертованы. Лобное место было залито кровью, она струйками стекала под ноги уже другой торжествующей толпы.

Амвросий успел скрыться. Рассказывая братии о поражении, приказал еще сильнее укреплять острог.

Скоро до выговцев дошли новые вести. Заговорщики пытались убить Петра I: устроили пожар в Кремле, чтобы выманить юного монарха из покоев. Заговор был раскрыт. Петр уехал в Троице-Сергиеву лавру. Шакловитый под пытками признался, что был начальником стрельцов, задумавших убить Петра. Стрельцам больше подходил тихий Иван, который мог повернуть Русь к старой вере. И снова рубились руки, ноги, головы. Обезображенные трупы остались на Лобном месте перед Кремлем. Головы прикрепили к высоким столбам, вокруг столбов же развешали ноги и руки.

Узнали также выговцы, что Петр I уехал за границу, чтобы еще больше укрепиться в правильности новой веры. Бросил на время гнездо невежества, тьмы и заговоров. В Амстердаме учился точить дерево и железо, работал с кузнецами, с плотниками, оттуда писал патриарху Адриану: «Мы, последуя слову Божию, бывшему праотцу Адаму, трудимся, чиним не от нужды, но ради приобретения морского пути и против врагов Иисуса Христа». Петр I из Амстердама выехал в Лондон, Вену, где изучал кораблестроение...

Амвросий, как никто другой, понимал, что этот царь будет пострашнее царя Алексея или соправительницы Софьи. Он энергичен, умен и если захочет, то скоро может уничтожить пустынь, а раскольников загнать в неведомые земли.

Всех, от мала до велика, наставник учил владеть мечом и ружьем. Посылал лазутчиков в Москву, чтобы знать, что там происходит. А там бунтовали стрельцы, которых подстрекали раскольничьи попы.

Петр видел многих царей, увидел культуру, которой жила Европа. Немедленно выехал в Москву, чтобы навсегда покончить с бунтарями-стрельцами, «защитниками» его трона. Вернулся сильным, решительным. Приказал приготовить тысячи плах и виселиц в Преображенском и в Москве. К Петру с иконой бросился патриарх Адриан, предстал перед царем, умоляя о помиловании преступников. Разгневанный царь закричал:

– Зачем ты пришел ко мне с иконою? Счел ты сие своим долгом? Возвратись и поставь образ на место! Так же, как и ты, чту я бога и Пресвятую Матерь его, но верховный мой долг и истинное благочестие обязывают меня хранить мой народ и преследовать карою злодеяния...

В Москве вопение, в Москве стон, казалось, что стонали даже стены домов, стонало небо. Амвросий стоял в стороне, скрестив руки на груди, тяжелым взглядом смотрел на победителя Петра. Смотрел и на стрельцов, которых везли к месту казни на телегах: в руках – зажженные свечи, крестились на четыре стороны, просили прощения у народа, ежели что не так. Народ же стонал, но громко крикнуть не смел, грозный царь был здесь, сурово посматривал на народ и на пакостников-стрельцов, гневно вздрагивали, топорщились его усы. Любил он смельчаков, но внутренне содрогался, когда сами стрельцы заходили на помост, закрывали платом лица, сами же надевали петли на шеи. Иные выбрасывали вверх руки с проклятым двуперстием. Не покорились царю, церкви, ибо знали, что «праведно» воевали за старую веру. Всем невинно-убиенным – быть в раю. Сами же ложились на плаху, под топор кровью забрызганного палача. Пробегает холодок по телу Петра.

Многие стрельцы, имевшие от роду всего восемнадцать лет, были казнены. Некоторых же снова поверстали в полки. Поверстали, но не усмирили. Убегали смельчаки из полков, обещая жестоко отомстить Петру.

Бежал Стенька Москвитин, сын казненного стрельца, и поднял бунт в Астрахани, где служил. Поводом для бунта послужил слух, что на семь лет свадьбы будут запрещены, пока иноземцы, служащие в Астрахани, не выберут себе невест. Слух оказался верным: за одно воскресенье повенчали до ста пар. Браки все были насильственные. И еще не затихли свадебные песни, как триста стрельцов разбили Пречистенские ворота, убили караульного офицера, ударили в набат, который привлек толпы единомышленников. И началось... Воеводу Ржевского убили вместе с его детьми, убивали иноземцев и никонианцев, разграбили общественную казну, дома убиенных. Полетели посланцы на Дон, на Терек, призывая на помощь казаков.

Полки Шереметьева двинулись на Астрахань. С небывалой жестокостью усмиряли мятежников. Зачинщики были колесованы, обезглавлены, иные повешены.

Шли годы, мужал царь, разрасталась Выговская пустынь. Петр воевал со шведами, чтобы добиться выхода в море. Победа под Полтавой, война с турками. Петр вышел победителем.

Амвросий на Большом соборе сказал:

– Петр стал великим мужем, теперь ждите, что его стопы будут направлены в нашу сторону. И быть нам биту, ежели мы не сплотимся, не встанем все как один плечом к плечу.

Царь же обложил раскольников двойным податным окладом. Приказал писать книги против староверов. Дал приказ сыскать всех раскольников, проживающих в муромских лесах, дабы привести их к повиновению на пользу России. Сыскали. Доложили Петру, что все это не просто скиты и остроги, а опасное скопление единомышленников, которые могут ударить в спину, взбунтовать народ, вернуть Россию к старой вере, к невежеству и тьме.

Петр сам съездил к выговцам, и то, что он там увидел, поразило его. Это было не такое уж невежество и тьма. Понял силу. Пока не посмел трогать раскольников и даже договорился с ними, что они будут поставлять хлеб, масло, мясо, вести торговлю с Петербургом. Более того, раскольники посылали в город мастеров тонкого литья, ажурнойковки, пушкарей, ружейных мастеров. Большой совет решил: «Не гонят, не воюют, можно сделать уступку царю». На что Амвросий сказал:

– Не было бы после первой второй.

Петр боялся той свободы, что обитала за глухими лесами. Он начал слать одну комиссию за другой, чтобы без крови привести раскольников под руку царскую. Но все эти комиссии не давали успеха. Лишь хитрый боярин Самарин круто поставил вопрос: либо раскольники, молясь по старопечатным книгам, будут поминать в молитвах своих царя и его двор, либо царь объявляет им войну, будет рушить скиты, уничтожать остроги.

Знал Самарин, что этим он внесет в сердца раскольников смуту великую. И внес.

4

Семь дней не умолкали споры на Большом соборе.

Амвросий кричал:

– Если мы будем молиться за царя и его дом, то скоро тот царь прикажет нам творить духовные дела по новым обрядам. Кто поклонится царю один раз, тот повторит такое же и вдрогорядь. Не быть гаму!

– Ладно ты глаголешь, Амвросий. Праведны твои слова, – отвечали горячему раскольникову более мудрые, понимающие, – мы вона создали каку благодать, живем как у бога за пазухой, а ежели случится война, то ведь быть нам биту! Все похерится и порушится. Не токмо мы, но и дети наши сгинут, вера сгинет. А что стоит нам упомянуть в тех молитвах царя и его дом? Язык не отвалится, рука тоже. А ко всему, хоша наш царь анчихрист, но ить он дан нам от бога. Дан на муки наши, бог испытывает крепость нашу.

– Крепость? – тут же ловил на слове мудреца Амвросий, – где же та крепость, ежели вы готовы упоминать в молитвах анчихриста? Где, я спрашиваю вас? А ко всему, тот царь матерно лается, табачище жрет и другим тоже делать повелевает. За такого молиться, просить у бога здравия анчихристу, дэк это ить богоотступничество!

– Все так, но ить мы приперты к стенке, нам хода нету.

Феофил Тарабанов говорил:

– Ежели нам хода нету, ежели мы находимся в безвыходности, то у нас одна путя – это всем самосожечься и вознестись к богу в огне, смраде и дыме.

– Дурак, давно такое от тебя слышу! Воевать надо, умирать под стрелами и пулями супостатов, а не гореть, сложа руки, – гремел Амвросий: он уже был большаком собора. – Я снова

плюнул в браду Алексею Михайловичу, плюю второй раз его сыну в бритую харю. Кто он? Он почти немец, женка – немка, все строит на немецкий лад. Кто не со мной, тот враг старой вере. Я собираю войско ратное и начинаю воевать царя. Встанем у врат его и сокрушим. Всяк народ нам помощник, потому как в нужде и голоде пребывает.

– Вознестися в огне, смраде и дыме, как вознесся на небо Иисус Христос! Быть концу света!

– Не бысть концу света, а бысть разумному царству людскому. Не много требует от нас царь, многое оставляет нам. Мы продолжим дела нашей пустыни, а когда встанем силой выше царя, тогда и будем воевать его. Не сжигаться надобно, а ждать, уповать на силу божью. Сожженный воин – радость врагу.

Началось великое брожение умов. Самарин, уезжая, только усмехался в свою бритую харю. Он сотворил большое дело: внес раскол в раскол – можно умыть руки, как это сделал Пилат, когда распяли Христа. Большая половина покорилась приказу царя, другие взяли в руки оружие, а третьи начали сжигать себя.

Пахло паленым мясом, горела тайга. Тысячи людей предались самосожжению. Готовил к боям свое войско ратное Амвросий. Он уже знал, что Петр I послал солдат усмирять непокорных. Говорил тем, кто падал духом:

– Не мы подняли меч на царя, царь его поднял на нас. А кто поднял меч, тот от меча и погибнет, так сказано в святом писании устами Христа. Мы отстаиваем волю народа, за свой дом надо драться до последнего издыхания. Мы разрушим этот еретический Петербурх, сбросим его трон в море. Ежели наша житуха была хлеб с маслом, то сейчас про это надо забыть. Бить супротивника в лесах, заводить его в болота и там топить.

И начались кровавые бои, вначале стычки, а потом битвы. И часто обученная бою армия Петра бросала поле брани и в страхе бежала от диких раскольников, от их неистовости бежала. У этих дикарей не было правил боя, они ватагой врываются в гущу солдат, секли топорами, колотили дубинами, стреляли из ружей, бились насмерть. Но только сила раскольников таяла, как свеча на ветру. Никонианцы уже подбирались к острогу. Но Амвросий заводил вражин в болота, уничтожал как мог. Не хотел допустить до острога, считал, что за стенами острога им не устоять.

В дозоре затаился Петр Лагутин с ватагою. Доглядчики донесли, что царских ярыг на десятки верст нет в округе. И задремал дозор, разморенный жарким солнцем. А тут навалились царские конники на рать малую и посекали всех сабельками татарскими. Лишь Петр Лагутин, богатырь былинный, не дался врагам. Он сек вражин мечом кованым, что весил пуд и еще чуть. Да и конь под ним был резв и горяч, под стать хозяину. Рубится, уходит Петр от врагов на коне, чтобы донести своим о наступлении петровских ярыг. Поскакал. Но скоро раненый конь сбился с бега, пал посреди поляны. Еще злее начали наступать на Петра никонианцы, но Петр не сдавался, хотя сам уже был много раз ранен. В голове звон, красные круги перед глазами. Не устоять! А вдали дробь барабана, идет подмога врагам. Пропал мужик.

Из леса, погоняя коней, выскочили двое. Это были Устин Бережнов, Роман Журавлев, тоже богатыри ладные. Трое против десяти. Налетели, враз разметали противника, подхватили раненого Петра и унесли его в лес. А тут и свои подоспели. И начался бой, последний бой. Амвросий, рядом его сын Устин, племянник Роман – первыми врезались в гущу солдат. И началась сеча великая. Падают, умирают русские люди, режут, колют, давят и душат друг друга лишь потому, что один молится двуперстием, а другой – трехперстием. Раскольник и никонианец, уже умирающие, продолжают добивать друг друга. Здесь раненых не будет, здесь останутся только мертвые. А мертвые срама не имеют. Убит Амвросий, убит командир петровского отряда, но бой продолжался. Он затих только к ночи, когда с той и другой стороны убивать было некого. Широкое лесное поле было усеяно трупами. Кто победил? Конечно царь Петр. Он еще пришлет сюда войско, но уже некому будет против него сражаться. Вон по полю ходят

десять раскольников, ищут раненых. Среди них – Устин и Роман. Здесь же ковыляет Петр Лагутин, он чуть оклемался и тоже вступил в бой.

Встретились, обнялись, извлекли мечи из ножен и поклялись на мечях на вечное побратимство: если кто в их роду родится из мужского пола в один день, одного года, то пусть будут побратимами по завету. Этот бой свершился в 1730 году, седьмого дня, месяца августа.

Вернулись живые в острог, принесли с собой страшную весть. Завопили женки и дети, но это вопение оборвала Степанида Бережнова, которая тут же встала во главе раскольников. Воительница была новгородского толка. Если кто-то говорил, что после смерти душа вознесется в рай или ад, то она на то отвечала: «Что есть царство небесное, что есть воскрешение из мертвых? Ничего того нет и не было, кроме сказок житейских. Есть человек, а человек – есть бог. А ежели умер человек, то умер. Тело все видели, а душу – никто. Умерло тело, умерла душа, а тело и душа – едины. И не возносится она в небо, а уходит в могилу с усопшим». Среди раскольников и такое могло быть, вольно мыслить никому не воспрещалось. Собрала Степанида народ и сказала:

– Воевать у нас сил нет, будем уходить в Полуношные страны. У нас есть кочи и щельи, соберемся за зиму и уйдем. А зима на носу. Ярыги же царские нас в зиму не тронут. Море мы знаем, тронем пока на Мангазею, а уж оттуда – в леса сибирские. Не перечить! Быть по сему!

Никто и не собирался перечить Степаниде, все знали ее характер, круче Амвросия будет. Феофил Тарабанов было заикнулся о самосожжении, мол, чего маять людей, вознестись... Она так цыкнула на него, что он даже присел под ее палящим взглядом. Тихо сказала:

– Хватит нам резать народ русский. Земли много, схоронимся в Сибири, что и ворон залетный не найдет. Новую пустынь поставим.

Зиму готовили посудыны, смолили их, шпаклевали, отбирали скот, провиант, семена, разную разность, чтобы уйти в земли нелюдные и надолго осесть там.

И как только тронулись льды на Выг-реке, спустились на щельях и кочах в Онежскую губу, а уж оттуда – в Студеное море. Дорогу-то до Обской губы хорошо знали. Устин с Амвросием не раз туда хаживали. Да и старики тоже хаживали. А лето в Полуношных странах короткое. Едва успели добраться до Мангазеи, как подули холодные ветры, едва успели повернуть свои корабли в Обскую руку – стали реки. Зимовали у чуди узкоглазой, народа тихого, покладистого и доброго. После зимовки поднялись по Оби до устья Иртыша, еще прошли сотню верст по Иртышу и стали ставить свою крепость с башнями да с пушками. А кругом безлюдье, первозданная тишина.

Глава вторая. Таежные люди

1

Горы в этой тайге называют мягко и певуче – сопками. Сопк-и-и! Они караванисто уходят к изломанной линии горизонта, сливаются с синевой неба, теряются в облаках. Крутые, жаркие сопки. Горбатятся от старости перевалы, а с них – звонко, вприпрыжку бегут ручьи, вода в тех ручьях сочная, вкусная, пей – не напьешься. Ключи рождают речки, тоже молодые и бойкие. Эти речки могут так забуйнить от затяжных дождей, что их грохот слышен за несколько перевалов. Они вырывают столетние ильмы, бархаты, вербы, катят по дну многопудовые камни, все сметают на своем пути. Норовистые речки, бешеные. А спадет вода, они тихо и ласково журчат в своих ложах, былинные сказы рассказывают, крепкий сон навевают.

А леса... Разве есть еще где-то леса прекраснее уссурийских! Здесь черная береза обнялась с белой, осинка-говорушка день и ночь шепчет о чем-то кедру. Рядом раскосматил хвою тысячелетний тис, его прикрыла стройная ель. В обнимку, дружно поднялись на сопку пихты, сползли в распадок и заповодили его. Огромными шатрами раскинулись заросли дикого винограда, лимонника, кишмиша. Все здесь переплелось и перевилось. Но каждому хватает места на этой суровой, а вместе с тем теплой и ласковой земле.

Речки, сопки, глухие распадки, чистые поляны и марюшки, дикие скалы с причудливыми нагромождениями камней – это все тайга.

И где еще есть, как не в этой тайге, легендарный корень женьшень, тис, могильная сосна... Этот уголок земли не тронули великие оледенения, не опалили его холодным дыханием студеных ветров, обошли и оставили людям сказку.

А зверей здесь называют тайгожителями. Для них тайга – и корм, и приют. Косули любят долинки, чистые места с перелесками. Изюбры поднялись в сопки, лишь на ночь спускаются погостить. Кабаны – в кедрачах, дубняках; там же тигры, медведи, хотя последние относятся к числу бродяг и ходят по всей тайге, по всей земле. А уж разная мелочевка: белки, бурундучишки, разные птахи – так этими вообще переполнена тайга. Все поют, трезвонят, что-то рассказывают друг другу.

Люди здесь называют; себя таежными людьми. В них от тайги ласковость, доверчивость и суровость, а порой и жестокость. Здесь иначе и нельзя: только жестокостью можно остановить варнаков, тех, кто не признает таежные законы. Они не писаны, они вошли в плоть и кровь таежных людей с детства и навсегда.

И законы эти просты и человечны: не грабь, не убивай проходящего, помоги терпящему бедствие, будь он тебе друг или недруг, не бей зверя без числа, оставь в зимовье хлеб и соль, заверни в берестинку спички, дров наколи – будь человеком, а не брандохлыстом. А если завидел неладное, то накажи нарушителя по таежным законам. Здесь ведь нет урядников и приставов, нет суда присяжных, поэтому сам суди по совести, по человечности, не перегибай палку, может сломаться...

Таежный человек – прежде всего охотник, умелец на все руки. Неохотник, снулый ко всему человек погибнет а одночасье: от незнания таежных законов, от неумения добыть зверя на пропитание. Охотник, тот и зверя добудет, шкуру выделает, сошьет себе одежду и обувь, срубит зимовье, дом, починит ружье, вспашет землю и хлеб посеет. В тайге скучать некогда: то грибов надо собрать и насолить, ягодами запастись, винограду набрать, вина надавить, шишек кедровых навозить, чтобы в пересудах было что пощелкать. А тут еще хлеба, покосы, ого-

род. Таежному человеку нельзя засыпаться до вторых петухов, с пташками надо вставать, а с последними их голосами ложиться.

Степан Бережнов побывал в этих краях, присмотрел глухую долину Уссурки и решил вести сюда братию. В марте 1879 года, в непролазное распустье, без троп, по таежной целине, продирались раскольники через крутые Михайловские перевалы, чтобы выйти к намеченному большаком месту, остановиться в устье небольшой, но бурной речки Каменки.

Пришли вшивые, косматые, оборванные. На истертых до крови плечах принесли бороны, плуги, железо, гвозди, зерно для посева и семена овощей. Картошку тоже не забыли. Не оставили позади себя дорогу, знали, что проруби ее, то по ней придут другие, может быть, и чужие люди. А вот так, по бездорожью, не всякий рискнет пройти через дебри таежные. Такое под силу только раскольникам, которые хотели укрыться за горами и лесами от худого глаза царя-антихриста, от назойливых мирских людей.

Пришли таежные люди, которым тайга – родной дом, как уральская, так и сибирская, а теперь вот эта – неведомая, Уссурийская. Без гомона и шума пришли. Ведь они беглые от царя и церкви. Со времен Алексея Михайловича беглые, со времен трижды проклятого патриарха Никона – беглые. А раз беглые, то все надо делать тайком, как это делали в Сибири, Забайкалье.

А вокруг простор, вокруг голубые мартовские сопки с рыжинкой, как косули в линьку. Стекались с них речки, образуя широкие долины, за миллионы лет подготовили пахотные земли неугомонному мужику-умельцу.

И застучали топоры, завжикали пилы; среди тайги вставала деревня Каменка, отгороженная от худого глаза столетними кедром, тысячеветными дубами, голенастыми березками. Если в Сибири они жили за крепостными стенами, строили свои остроги, то здесь отказались от стен. Тайга будет стенами, доброе слово будет крепче стен. Так порешил Степан Бережнов, молодой проворный наставник старообрядческой общины. Запретил рубить лес в деревне, а возили его издалека.

Первый дом, даже не дом, а келью, чем-то похожую на крепостную башню, срубили старейшему учителю Михаилу Падифоровичу Бережнову, ибо у раскольников старость почиталась наравне со святостью, а заслуги перед народом – и того больше. Деду Михаиле уже сто тридцать лет стукнуло. А он еще в силе, при здоровом уме. Он как только занял пахнущую смолой келью, тут же разложил свои бумаги, чтобы продолжить описание мытарств людских, оставить после себя завещание бунтовщикам-раскольникам, чтобы рассказать миру правду, что пришла с житейской мудростью. Писал, чтобы потомки не повторяли ошибок своих предков, были бы мудры, были бы покладисты. Земля мала, беготней славы не наживешь, а вот бесславие уже нажито.

Хотел бы спрятать от глаз людских деревню Степан Бережнов, но деревня – не иголка, которую можно спрятать в стоге сена. Вон, сразу за покотиной, раскинулись пашни. Поднимали с хрипом и стоном. Гнус продыхнуть не давал. Звери стерегли каждый шаг человека.

Но молодой наставник говорил:

– Обтопчем землю – спадет гнус. Почнем охоту – отойдет зверь. Навались! Не бойсь! Кто сгинул, знать, так богу угодно. Поджимай, мужики! Не отставай, бабы!

Поджимали, не отставали. За пашнями раскинулись покосы. А за покосами шли дороги и робко обрывались у леса. Здесь раскольники брали лес на стройку, на дрова. Дальше прятались тайные тропы, по которым шли маньчжуры-коробейники и на которых таились хунгузы. Контрабандисты несли раскольникам все, что душа пожелает: порох, свинец, соль, мануфактуру... Плата – пушнина, тигровые шкуры, кости, ус, кабарожий пупок, панты. Денег пока не брали. Да и мало их было у раскольников. Пока сюда добрались – все растрясли, то пристава надо было ублажить, то казаков.

Наученные веками жить в дружбе с инородцами, здесь тоже всячески завязывали мир и дружбу. Были честны до мелочи. Ибо раз обмани коробейника, то об этом будут знать все торговцы и обойдут деревню, в которой живут обманщики. Раз обидь инородца, то все инородцы станут врагами. А здесь жили удэгейцы, ороконы, гольды. Раскольникам воевать с инородцами не с руки.

Не было и воровства, которое наказывалось смертью. Амбары не закрывались на пудовые замки, двери домов подпирались палками, чтобы не забрела в дом собака. Для человека же все двери были открыты, будь то хоть манза-бродяга, который забрел на русскую землю с надеждой, что он здесь может стать богатым человеком. Но только богатство то надо было обрести в поте лица. Заходили и русские бродяги – тоже искали себе жизнь потише и кусок хлеба побольше. Да чтобы без труда, будто здесь калачи растут на деревьях.

Ходили в мир теми же тайными тропами и раскольники – связь с миром держали. Забегали в города, присматривались и прислушивались. Да не всякий мог уходить в тот мир, ходили самые проверенные, самые боговерные, чтобы не смогли заменить бесовскими игрищами мирские, не сбить с пути праведного словами богохульными. Зачем бы тогда уводить в эту глухомань братию наставнику Степану Бережнову? Увел подальше от соблазна, подальше от церкви и царя.

А годы бежали, отстукивали время настенные часы, гири их каждое утро подтягивал дед Михайло. Он видел тревогу Степана Бережнова, который иногда забегал в город Владивосток. Город строился. Город рос. Видел Степан Бережнов, как закладывали Уссурийскую железную дорогу, на закладке которой был цесаревич Николай Александрович, будущий государь император. Хоть и далеко стоял Степан Бережнов от цесаревича, но хорошо разглядел его. Хмурился наставник, зло сжимал пудовые кулаки, в бессилье скрипел зубами. Знал Бережнов, что по этой дороге скоро хлынет люд, заполонит тайгу, придет и в их долину. Деревни растут как грибы и наползают в их сторону. Думал: «Хил и неможен цесаревич. Но не в нем сила, а сила в тех, кто его подпирает плечами».

Прошло двенадцать трудных лет. Но прошли они не даром. Вокруг деревни – пашни, покосы. На светлых полянках пасеки, каждая до двухсот даданов. А ведь раскольники принесли всего одну пчелосемью. От двух коров и одного бычка – многоголовое стадо. От десятка лошадей – табуны. Нет, живучи эти люди. Обжили тайгу, понастроили зимовья, понаставили ловушки-самоловы, во множестве добывают соболей, колонков, белок. Ссыпают звонкое золото в кожаные мешочки. Золото – не бумажка, не сгниет.

Когда пришли сюда, на плечах едва держалась полуистлевшая лапотина. А сейчас! Как разнарядятся в праздник в сатины, сукна и шелка, запрудят всю улицу своим разноцветьем. Мужики в хромовых сапожках, бабы форсят в кашемировых шальях – рябит в глазах. И ходить стали неспешно, степенно, будто и спешить некуда...

Бабы натирали песком полы, лавки, перестирывали белье, готовились к пасхе. С сопок уже сполз снег. Ярко полыхало солнце. Густо пахло вербой у реки, сыростью весенней. Пчелиный гул в небе – пчела вылетела на вербу. Мужики неистово парились в банях-каменках, вылетали из них, прыгали в прорубь – и снова на полок, что есть силы хлестали себя дубовыми и березовыми вениками, старые грехи смывали. Готовились к всенощной. Парились и бабы, они тоже не безгрешны. И вот деревня двинулась в молельню. Впереди в черных кафтанах степенно вышагивали мужики, оглаживая бороды; следом – бабы и детвора, а уж позади – девки и парни. Детвора шумит, балуется, шикают на детей матери, но где там – галдят, будто идут на рыбалку, а не славить воскресение Христа из мертвых.

Впереди трудная ночь. Ночь, которую надо выстоять на ногах, петь псалмы, читать молитвы, славить имя Христово. И где-то в полночь хористы вышли вперед. Ударил по лавке

звучным камертоном дед Михайло, чтобы хор настроился на ноту «ля», взмахнул рукой, и грянул хор: «Христос воскрес из мертвых смертию на смерть наступи и гробным живот дарова...»

Каменский хор был одним из лучших в долине. В раскольничьих деревнях Варпаховке, Кокшаровке такого хора не было, какой создал дед Михайло.

Старообрядцы не признавали мирской музыки, за балалайку или гармошку голову оторвут охальнику. Все это – ляхетство и никонианство. А вот петь любили.

Журчали голоса баб, в них вплетались детские подголоски, басовито гудели мужики. Падают голоса вниз, вверх, стонут и плачутся...

Пел хор, а тут шепот не к месту:

– Степан Ляксеич, твоя женка рожает...

– Эк приспичило, нашла время. Ну ин ладно, слышь-ка, баба Катя, ходи примаи роды.

– Еще корчатся в муках Лагутиха и Журавлиха.

– Эка напасть! Трое в одночасье, – заворчал Михайло. – Без Кати хор порушится. Вот те нашло на них.

Повитуха баба Катя, хотя ей от роду было не больше тридцати, вынырнула из молельни и побежала к роженицам. В ночь, на пасху Христову, родились три малыша-крепыша, голосистые, неумные.

А утром Михайло Падифорович Бережнов долго рылся в пожелтевших листах своей летописи, искал завет ушедших на покой предков. За сто с лишним лет многое позабылось. Вот оно, завещание: «Мы, побратимы, Устин Бережнов, Петр Лагутин, Роман Журавлев, завещаем: кто родится в один день одного года в роду нашем и мужского пола, того назвати нашими именами и считати отродясь побратимами. Такое угодно богу, допустимо божьим промыслом, ибо рождение побратимов – бысть нашим вторым рождением. Слава тебе, боже. Аминь». Эти слова были записаны самим дедом Михаилом, когда побратимы состарились и готовились на вечный покой.

– Это перст божий! – воскликнул Михайло Падифорович. – Не на горе, а на большое счастье родились они, родились в воскресение Христово. Воспоем ему аллилуйю! Те нашли свое побратимство в сечи великой, а эти – от рождения. Жить им в мире и согласии, как жили их побратимы. Запишем их имена в книгу бытия. И дед Михайло записал: «Рождены на Пасху Христову 1892 года от рождения Христа. Пусть в их жизни не будет худых и печальных дней. Аминь».

– Гуляй, мужики, славьте новорожденных и Христа, бога нашего! – орал подпивший Бережнов. – Такое бывает в тыщу лет одна!

– Славим! Жить им столько, сколько прожил дед Михайло!

– Завет предков наших равен завету божьему. Потому гуляйте. Я тожить пригублю бесовское зелье, – категорично заявил дед Михайло, который за всю жизнь не выпил и кружки медовухи. А сейчас выпил, так уж рад был, что завет отцов сбывся...

Перечить не стали своему учителю. Все прошли через учителя. Он знал астрономию, риторику, космографию, географию, историю, владел художественным письмом и иконописью. Дед Михайло многим преподавал эти науки. Однако учил и понимать души людские, любить Россию.

Но как только стал наставником Степан Алексеевич Бережнов, учение деда Михайлы стало сводиться на нет. Наставник запретил учить детей астрономии: мол, это вносит в их души сумятицу; по Святому Писанию небо – твердь, а ты учишь, что оно – эфир, что звезды – солнца. Запретил читать историю раскола, потому что Михайло исподволь осуждал раскол, который привел Русь к великому кровопролитию. Хуже того, учитель возносил анчихриста Петра I, будто он вывел Россию из тьмы и невежества. Сам зная все это, Степан не хотел, чтобы знали другие. И схватились прапрадед с праправнуком.

– Ты, – кричал дед Михайло, – не наставник духовный, а идол магометанский! Как ты смеешь наложить запрет на то, от чего люди душой крепнут, сердцем добреют? Как? Земля не покоится на трех китах, она кругла, и не Солнце ходит вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. И человек, познавший многие науки, – добр, умен, зла не может творить. А ты творишь. Миром должны править добрые, а не злые. А ты зол и завистлив. Мудрость и рассудок приходят к человеку со знанием наук, кои обрело человечество. А уж историю-то знать должен каждый, бо без истории нет Родины. Через нее придет любовь к земле своей, к народу своему. История – это хлеб наш насущный, как и астрономия, арифметика и география. Без того хлеба человек уподобится гаду али зверю. Не поняв души своих предков, нельзя понять себя. В этом суть жития людей, в этом суть души...

Учил дед Михайло детей и слову божьему. Но, как поговаривали раскольники, он уже стар стал и начал заговариваться. И Степан Бережнов, праправнук деда Михайлы, уже не раз ставил вопрос на совете братии, чтобы отстранить от учения божьего выжившего из ума старика, «бо он вносит в души детские сумятицу и разноголосье».

И верно, учение деда Михайлы противоречило Святому Писанию:

– Божье слово – суть душевная. Оно идет от души, а не от зубрежки того слова. Надо сначала понять душу слова, а уж потом славить тем словом бога. Не тот бог, что рисован на иконах, а тот бог, что сидит в душе.

Лет двадцать назад такого бы не сказал дед Михайло. А вот с годами пришла к нему мудрость, пришла и заставила задуматься.

Отлучили деда от учительства, потому что его учение было богохульно и богомерзко. Но он отстоял-таки своих любимых сорванцов. При нем остались восьмилетние побратимы: Устин, Петр, Роман. Он их собирал в своей избушке, что стояла на отшибе, рядом с домом другого учителя Макара Булавина, которого тоже в свое время отлучили от учительства. Учил истории и другим наукам. С ребятами писал иконы, вел летопись братии.

– Вы спрашиваете, что есть время? Время, как вода течет и течет по своему руслу. А в этом времени – мирская суета, стоны, раздоры. Сколько я помню, столько и ведутся в мире войны и драки, мелкие свары и глупые обиды.

Непонятные слова говорил дед Михайло. Непонятные сказы о далеких звездах, что будто они такие же солнца, как то, что греет нашу землю. Что под теми солнцами тоже могут жить люди. А вот где же тогда райская обитель, где живет бог?

И лежали побратимы и учитель на душистом сене, смотрели на звездное небо, и каждый силился разобраться в той астрономической мудрости.

– Коло-звезда – единственная звезда, коя ходит по небу, будто короткой веревкой к колу привязана. А вот у других звезд и размах широк, и дороги дальни, – в ночи давал урок дед Михайло.

Побратимы познавали течение звезд, их названия, но никак не могли представить всю глубину и ширину Вселенной.

– А как же, деда, ить в Святом Писании сказано, что небо твердь, а звезды сам бог прибавал к небу? – раздался звонкий голосок Устинки.

– Святое Писание, сынок, создано для темных людей. Для умного и грамотного то Писание смешно и бестолково. Вот вбей ты гвоздь в стену, рази же он будет бродить по стене? Нет, он там навеки недвижимым и останется. А гля на звезды, с вечера Марса-звезда была над сопками, а к полуночи она ушла с полнеба. Да и Большая Медведица тожить сделала большой шаг по небу. Не твердь небо, небо – эфир, пустота, необозримая для ума и глаза человеческого. И не верьте тому, что бог создал Землю. Не всемогущ он, не всеведущ. Создал Землю, населил ее всякими тварями, а не узрел в душах Адама и Евы, что они скоро совершат грех великий. Не узрел он и того, что люди впадут в блуд, а за блуд восхотел наказать потопом. Одного Ноя пожалел. Глупость все это. Ежели бог не может узреть такое, то куда ему до создания Земли и

Вселенной? Кем все это создано? На то и я не могу дать ответа. Ежели бы знал, то не нудилась бы душа: есть бог аль нет? Разум отверг его, а душа держится. Тяжко. Разум отвергает бога, а душа за ним тянется. Но кто-то все же создал? А вот кто?! – почти кричал дед Михайло. – Не могло же все это из ничего родиться. Умру, так и не познав таинств Вселенной. Да и никто их не познает, ибо человек мал, а Вселенная велика.

Может быть, по этой причине дед Михайло не очень любил астрономию. Зато в истории он был знаток, облакал ее в рассказы, живые и понятные. И история с его слов враз приближалась, как будто все это случилось только вчера.

Стонут леса, выжат злые ветры, бредут побратимы по тайге, представляют Ивана Сусанина, героя народных сказаний. Тонут ляхи в глубоком снегу. Ведет их Иван Сусанин, чтоб загубить в чащобах непроходимых. Бела борода у Ивана Сусанина, ростом он велик, виден среди звезд и во тьме. Надвинулись на него смоляные факелы, чадят в бороду, ест дым глаза, тают сосульки на бороде, а Иван смеется в глаза ляхам.

– Вы говорили, деда, что слава – дым, – расспрашивает деда Михаилу Устин, – а ить Иван Сусанин и сейчас жив во славе?

– Слава славе рознь. Есть слава во имя спасения земли родной, а есть слава ради корысти своей. Слава твоего отца будет короче его жизни. Короче, вот помяните мое слово, ибо он не к добру зовет народ наш, а к жадности и сребролюбию. Он мутит народ не добром, а злом.

– В чем же его зло?

– А в том, что он отнял у других тропу познания. Сам же все это получил от меня, и сам же туго верит в лик божий. Значит, он двоедушник, прощельга.

– Деда Михайло, мы уже не маленькие, расскажите, почему вышел раскол? – теревит зипун старика Устин. – Пошто одни люди не приняли новую веру, а другие приняли?

– Это путано, сынок. Новая вера пошла от зело грамотных людей, от Арсентия Грека, Никона-патриарха. А народ, темный и сирый народ не восхотел принять нововведения в уставах, правку старых молитв. Как это было? Я многие годы познавал, пошто и как вышел раскол. Здесь тебе и будет ответ, что есть одна слава, как у Сусанина, и есть другая, корыстная. Ведь Никон и Арсентий Грек на то пошли, чтобы возвеличить себя в веках, создать новую веру, самим же стать выше царя.

...Так передавал Михайло знания, мудрость жизни побратимам, своим последним ученикам. Стрельбе же учил их Макар Булавин, наилучший стрелок среди раскольников. Учил повадкам зверей, разным премудростям таежным:

– Чтобы быть хозяином в тайге, надо уметь многое: стрелять точно, ходить ночью по звездам, днем по солнцу, разводить костры, строить дома, шить обувь. Таежный человек – все должен мочь. Без этого мы погибнем.

И вел в тайгу, туда, где кричали филины, рычали тигры, стонала и всхлипывала ночь. Вел, чтобы дети с восьми лет не боялись тайги, чтобы они могли и в ночи спать сном младенца. Ибо человек есть голова всему существу на земле.

А ночь темна, над головой лишь звезды, луна. Чьи-то всхлипы, вскрики, стоны. Треск сучка под лапой зверя кажется хлестким выстрелом; шум ключа похож на скрадывающие шаги тигра. Хочется прыгнуть под коряной полог, забиться в угол и сидеть там пугливым мышонком. Но такое делать нельзя, друзья засмеют – каждый старается не обращать внимания на ночные звуки и слушает охотничьи сказы Макара Булавина...

Учил он и плавать на лодке по бурным рекам, и бегать на лыжах по крутым сопкам. Лыжи подбиты камусом, бежишь в гору, а плотная шерсть не дает сползть назад. Но главная учеба – это стрельба.

В те годы у раскольников уже были однозарядные берданы, многозарядные винчестеры, русские винтовки.

Любимцем у Макара был Устин Бережнов. Глаз у него зорек, рука хваткая. Того и смотри, что догонит учителя. Но учитель этому только радовался. А вот Романа Журавлева не любил и часто кричал на него:

– Я выбью из тебя эту хлипкость. Ты как журавушка, идешь и ногой за ногу цепляешь. И в кого ты такой журавлиный? А ну бегом, вона до той сопочки и обратно. Душа из тебя винтом. Охотник должен быть верток, гибок, как соболек, упруг, как еловые корни. Он должен уметь думать, чтобы затылок запоминал, а глаза искали зверя. Внял?

Охотничьим наукам обучал детей и Алексей Сонин. Никто больше его не ловил соболей и колонков. Учил настораживать и строить разные ловушки, капканы самодельные, ходить по следу соболя, чтобы загнать его в дупло или расщелину, выкурить дымом, прежде поставив омет или рукавчик. Но это был «заполошный учитель», как называли его дети. Он срывался, кричал, драл непонимающих за уши, топал ногами. Но тут же отходил и снова начинал показывать свои премудрости таежные.

– Эко руки у вас неумехи. Как нож держишь, варначина? Насторожка должна быть чистой, ровной, а не изгибами.

Сонин был лихой бабник. Отправит своих учеников по ловушкам, а сам нырнет к вдовушке. За то не раз его наказывали на совете. Даже розгами секли. Но он не унимался.

Еще одна беда была у Алексея. Добывая больше всех пушнины, все деньги просаживал он на конях, на скачках, которые по осени устраивались среди каменцев, кокшаровцев и варлаховцев.

Его супруга, баба Катя, любимая всеми лекарка, смотрела на причуды мужа молча, приносила каждый год по ребенку. Поговаривали, что она любила другого, но тот не полюбил ее. Поэтому не ревновала, на жизнь смотрела просто.

Жила таежная деревня, жили в ней таежные люди, со своими болями и радостями, злобой и добротой.

2

Над тайгой метались метели, звенела она от студеного ветра, потом нежилась под нежарким солнцем, дремала ночами – суровая и насупленная. Глухо подо льдом роптали речки, ключи. Паром исходили наледи. Хмурилось низкое зимнее ночное небо.

В эту ночь собрались мужики за большим застольем у Степана Бережнова, чтобы вспомнить былое, подвести итог своей жизни.

Первыми пришли братья Бережновы, телохранители сурового наставника. Под иконами сели Куприян и Фотей. Куприян не вышел ни ростом, ни силой. Зато Фотей силач, борец, которого еще никто не положил на лопатки. Справа сели Евсей и Венедикт. Евсей был похож на каменную глыбу, весом девять пудов. Один ходил на медведя, не с ружьем, а с простой рогатиной, даже не брал ножа...

Братья Бережновы жили дружно, во всем поддерживали старшего брата и вместе со Степаном фактически вершили судьбу своей братии.

Вспомнили мужики, что, когда закладывали деревню, хотели обнести ее крепостными стенами, как это делали в Барабинских степях, а позже на Иртыше, но братья Бережновы отговорили. Степан тогда сказал:

– Нашими стенами будет тайга и дружба со всем людом. Хватит, побулгачили мы и наши отцы – ежели придут мирские, не бежать будем от них, а привечать их. В этом наша крепость. А потом и бежать некуда: за перевалом море-океан.

– Да я лучше удавлюсь, чем буду жить рядом с никонианцами, – возмутился Исак Лагутин, у которого отец погиб в битве с мирскими.

– Можешь и удавиться, ежели греха не боишься. Но знай, где мы проложили тропу, сюда придут и мирские. Когда-никогда, но придут. Выстоять мы должны в этом людском море.

– Верно рассудил, Степка, – поддержал праправнука дед Михайло. – Стены от людей не защита, любая крепость может пасть.

На первых порах было страшно без крепостных стен. Люди оглядывались по сторонам, деревня была будто нагая. Потом привыкли.

Пили сладко-хмельную медовуху, вспоминали тех, кто пал в неравном бою с царскими ярыгами, с мирским людом. Хвалили наставника, что правильно вершит дела, сдружил с аборигенами – все друзья и помощники. Было и такое, что Степан Алексеевич не раз выступал в роли судьи, если кто-то обижал их. Судил праведно, по чести.

Особенно дружны были раскольники с племенами Дункай и Бельды. Те жили в берестяных чумах, плавали на берестяных лодках, питались только рыбой и мясом. Русские научили их сеять хлеб, садить овощи. Гольды и удэгейцы промышляли соболя, колонка, белку. Но были в вечном долгу у пришлых контрабандистов. Соболя, что был добыт в прошлом году, был продан еще в позапрошлом. Так из года в год. Степан Бережнов рассудил: пришлого купца-хищника, чтобы аборигены перестали быть должниками, надо поприжать, чем снискал к себе доверие.

В середине лета, в разгар покосной страды, пришли тамбовские ходоки. Это были Кузьма Кузьмин и Еремей Вальков. Степенно зашли в деревню, не обращая внимания на брех охотничьих собак, помолились на восход солнца никонианской щепотью, постучали в самые богатые ворота Степана Бережнова.

Радостно встретил ходоков Степан Бережнов, спросил:

– Как же вы нашли дорогу в эту глухомань?

– Мир слухами богат. Нам сказывали, что здесь живут бородатые люди, земель много, вот и забежали сюда по тропам. Всю землю пешком прошли. Хороша везде земля, но много сказок слыхивали мы про этот Зеленый клин. Дажить книжонку такую читывали, кою зовут «Зеленый клин». Читали на сходах, по домам, при лучине. Растревожила она нас. В книжке сказано, что здесь можно по пятнадцати десятин на душу получить. А мы – малоземельные, десятина – и то много... И рыбы, и зверя будто здесь невпроворот. Это ить не жисть, а малина, – смиренно говорил Кузьмин, сглатывая слюну, будто уже ел и мясо, и рыбу.

– Все так, как вы говорите: и зверь есть, и рыба... Переселяйтесь, земли хватит, была б сила.

– Быстро не выйдет, потому как сюда шли пешком два года да отсель придется столько же. Знать, придем к вам годов через пять-шесть. Правда, есть сказ, что чугунку сюда ведут. Коли проведут, то быстрее прибудем.

– А что здесь родит? – спросил Вальков.

– А что посадишь, то и родит, хошь арбуз, хошь дыня, тыква, помидор. Да здесь хошь кол вбей в землю, и тот родит. Что там кол – сухая оглобля через год даст листочки, – хохотнул Бережнов. – Земли здесь добрые, жирные, солнца – по-за глаза. Научитесь рыбачить, охотничать – и пойдет у вас дело.

Пока Бережнов вел беседу с ходоками, Исак Лагутин с Карпом Таракановым подняли народ на ноги, чтобы убить ходоков и закрыть другим сюда тропы.

– Стара, корми ходоков, чтой-то меня на улицу кличут, – потянулся Бережнов к окну. – Что тут у вас? Вы что, ополоумели? Убить ходоков? Кто эту смуту затеял? Карп и Исак. Кнут, подайте мне кнут! Тут епитимья не поможет тем, кто не хочет понять дела.

И засвистела скоро плеть, начала оплетать широкие спины непонятливых раскольников.

– Наши дети с тобой, Исак, побратимы, – гремел Бережнов и что есть силы сек супротивника. – Потому и бью тебя сильнее, чтобы понимал мою дипломатию. Ходоки сказывают, что ведут сюда чугунку, – тогда повалит народ, а вы! Вот тебе еще по разику, и вона с моих глаз!

– Верно, большак, – одобрил дед Михайло. – Думал, ты так дураком и останешься, а у тебя просветление ума. Не убивать, а звать надо сюда люд расейский...

– Макар и Исак, вы поутру проводите ходоков за перевал! Вы за них в ответе. Вняли? Я знаю тебя, Макар Сидорович, ты умен и кровопролития не позволишь. Исак же пойдет, чтобы познал души ходоков. Познает, то и полюбит. Все! Расходись.

Исак Лагутин было рванулся, чтобы выхватить кол из поскотины, но его тут же окружили братья Бережновы. Евсей тихо сказал:

– Не кипятись. Жамкну – и нет тебя. Ты силен, мне тожить силы не занимать. Брат верно вас рассудил. Иди выпись.

Тарабанов отбежал на десяток шагов:

– Наставник меняет кожу, как змея, пора дать ему под зад коленом! Торскнуть его мало! Раньше у нас такого не бывало.

Тарабанова сзади схватил Фотей-борец, легко закрутил руки назад и подвел к брату-наставнику.

– Вот что, Карло, я уже тебя наказал. Но ты не внял. Дальше своей колокольни не видишь. Или запомнил? Так вот тебе на память! – вlepил затрещину Тарабанову Степан. Тот покатился по муравистой поляне. – Так будет со всяким, кто пойдет супротив моих слов. Сходом такие дела решать не буду. Говорю, надо, значит – надо. Реку вспять не повернуть, старого не вернуть. Всем по домам, завтра снова работа.

– Добре, сынок, добре, – поддержал наставника дед Михайло. – Повоевали – и будя. Пора жить миром. Обрастать друзьями, а не врагами.

Карп Маркелыч Тарабанов давно точил зуб на Бережновых. Давно рвался к власти, к богатству. Но сильны Бережновы, не вырвать власть из их рук. Не дают богатеть, приказывают жить ровно, как все. Совет решил, если кто убьет гилеяка, тому смерть. А Тарабанов хотел жить широко, привольно. Но на пути стоял этот страшный человек, которому ничего не стоило поднять руку на сына, если он пойдет против отца.

Исак же Лагутин во всем был покорен большаку, не перечил, но на этот раз взбунтовал, и все потому, что в драке мирские убили его отца, которого он очень любил. Молча перенес побои наставника, так же молча проводит за перевал ходоков Нет, он их не тронет, не посмеет пойти против воли братии, воли большака.

3

Канул в Лету первый год двадцатого века. Пришла весна. Весело гудела тайга. Ветер гнал по склонам сопки листовую метель, наметал в распадках листовые сугробы, сбивал с кедров оставшиеся шишки. Долины подернулись робкой зеленью. Сюда весна приходит раньше, чем в сопки. Уже пустились клейкие листочки черемуха, тополь, верба. На кочках появилась трава. Лишь не спешит в весну дуб-раскоряка, которого и пять человек не обхватят: видел он орды Чингисхана, что саранчой шли по этой земле. Он рос возле древнего городища, который порушили монголы, убив жителей, уведя в полон мастеров, красивых девушек. Ограбили землю. Земля без народа – пустыня.

Тренькали на все голоса пичуги, тянулись на север, тревожно погогатывали последние стаи гусей, курлычащие журавли спешили в свои гнездовья.

Весело, уже по-летнему звенели ключи, речки. Тоже славили весну, как славил ее теплый ветерок и все живущее в тайге.

По склону сопки шаркающей походкой шел старик Алексей Тинфур, потомок великих удэге. Нет, он не славил весну, не улыбался ей. Он сел на валежину и глубоко задумался. А думать ему было о чем. Шестьдесят пять лет, а он остался одиноким...

Алексей Тинфур двадцать лет назад бежал из этого края, который теперь назывался Ольгинским уездом, где сорок пять лет прожил. Здесь должны быть друзья, они могут его приютить. Но он шел сюда не для приюта, он шел мстить тем, кто оставил его одиноким.

Кратко история его жизни такова: шестьдесят два года назад пришел в этот край богатый каторжник, который хотел через море убежать в Америку. Да так и осел среди доверчивого народа удэге. Усыновил мальчонку, чтобы не было скучно, дал ему русское имя. Алексей прожил с Иваном двадцать лет. Научился говорить по-русски. В 1854 году Ивана убил шаман, назвав его колдуном, который пришел сюда, чтобы уничтожить всех удэге. Шамана задрали тигрица-людоедка. Зло было наказано. В 1855 году пришли русские переселенцы. Большим другом Алексея стал Андрей Силов. Он тоже был из беглых. В 1880 году его снова хотели отправить на каторгу. Произошел бой с казаками, жандармского исправника убил Алексей Тинфур, но смертельно ранили Андрея. Тинфур поклялся мстить людям в погонах. Он женился на гольдячке. Было у него трое детей. Жили они в такой глуши, что, казалось, туда никто не придет. Но этой весной пришли хунхузы. Тинфур был на охоте. Гольдов напоили огненной водой, затем всех зарезали. Вернулся Тинфур с охоты, когда уже дотлевали головешки их чумов, валялись полуобгоревшие тела. Как смог, так и похоронил. Бросился по следам хунхузов. Догнал их на перевале. Они спокойно спали у костров. Отомстил за детей, жену, друзей, но остался в полном одиночестве. Зачем жить?..

О Тинфуре-Ламазе, Тинфуре-Тигре знала уже вся тайга, хотя сам Ламаза не ведал, что его имя в страхе упоминают враги, с надеждой – друзья. Друзья просили духа гор, чтобы он во всем помогал Ламазе, отводил бы от него пули врагов. Враги же слали проклятия на голову Тинфуру-Ламазе и молили духа гор убить его.

Тинфур шел по своей земле, шел по земле своих отцов. Здесь каждая сопочка, каждый ключик были ему родными.

Вышел на таежный тракт – подался назад: он еще никогда не видел в этом краю такой широкой тропы, такой ровной.

С юга пылила тройка. Тинфура-Ламазу заметили. Кучер натянул вожжи, закричал:

– Эй! Ты чей будешь?

– Ваш буду, чей же больше! Я – Алексей Тинфур.

– Тинфур! – крикнул пассажир, который сидел в бричке, молодо выпрыгнул и бросился к Тинфуру. Облапил его как медведь.

– Тебе... тебе чего? – отбивался Тинфур.

– Алексей Тинфурович, как я рад, что снова вижу тебя. Я – Иван Пятыйшин.

– Андрея сын? Ой, какой большой стал!

Два человека, плотный пермяк и маленький удэгеец, топтались на тракте, будто исполнили одним им ведомый танец. Выдохлись, сели на дорогу. Пятыйшин тронул кудрявую бородку, посмотрел на Тинфура: постарел, усох, жидкая косичка болталась за спиной, боро денка стала еще реже.

Алексей Тинфур-Ламаза вспомнил маленького Ваньку, побочного сына Андрея Силона, который стоял у могильной ограды и волчонком смотрел на людей.

– Кто такую широкую тропу построил? – спросил Тинфур-Ламаза.

– Я построил, – ответил Иван.

– Большой голова должна быть, если ты такую тропу построил.

– Учился в городе. Теперь других учу.

Иван Пятыйшин окончил коммерческое училище во Владивостоке, теперь был строителем дорог, почтовых станций. Закончил строительство тележного тракта от бухты Святая Ольга до Владивостока, но от этого не стал богаче. Едва сводил концы с концами. Собирался заняться заготовкой дров для города и военного поста. Может быть, на дровах поправит свои дела...

– Далеко ли путь держишь, Тинфур-Ламаза?

– Иду в Ольгу, хочу сказать приставу, что плохо он стережет землю. Еще надо зайти поклониться Андрею. Может, кого из друзей встречу.

– В Ольгу не ходи, у нас новый пристав после Харченко – Баулин, хапуга и дурак, не поймет он тебя...

– Худо, когда начальник нечестный человек. Совсем честный был человек Харченко.

Пристав Харченко правил в этом краю двадцать лет без малого, но, когда вопреки приказу был убит его друг Андрей, он застрелился. Много лет отдал он таежным людям, как мог защищал их, помогал им. Пришел он сюда не ради наживы, а ради процветания края, как пришло много честных людей в эту глухомань, чтобы «ставить» здесь Россию.

– Хорошо, в Ольгу не пойду. Кто остался жив из приплывших на большой лодке первыми?

– Иван Воров, его старуха и Меланья Силова. Вот и все. До наводнения 1882 года здесь наших было много. Но они ушли в Шкотово. Остались только крепкие старожилы, чьи пупы приросли к этой земле. Вся надежда на чугунок. Вчера прибыли ходоки из Полтавщины, хохлы. Плыли они пароходом вокруг всего света. Место пришли здесь выбирать. Семьи же их сидят во Владивостоке. Посоветовал я им застолбить почтовую станцию Милоградово, места хорошие. Если так будут возить сюда люд, то это будет похоже на то, если бы мы восхотели океан ложками вычерпать. Билет на пароход для взрослого стоит сто рублей, на ребенка полста. Где мужику набрать столько денег? Приехали голым-голеньки. А сюда надо возить людей задарма, да еще давать им на обзаведение деньги, семена, для охоты оружие. Тогда повалит народ.

– А лес поредел, – с сожалением заметил Тинфур.

– Да, рубим для города, продаем. Рубим со всего плеча, а ведь кедр растет сто лет. Но что делать?

– Не рубить.

– Тогда мы не построим Владивосток. А строим его на деньги, что нам за лес платят. В одно верую, что будем скоро разумнее рубить лес, только и всего. Ну, поехали! Дела надо делать, а не ляды точить. Дорогой наговоримся.

Тинфур-Ламаза впервые катился в бричке. Держался за плетенку, боялся упасть. Мелькали деревья, проносились мимо сопки. «Хорошую тропу сделал Иван. Тот первый Иван пришел сюда по плохой тропе, а второй построил хорошую. Молодец, Иван!»

Деревня Пермское, когда-то большое и шумное село, встретила Тинфура застоялой тишиной. Тинфур с Иваном побывали на могиле Андрея, положили букет подснежников. Иван покатил в Ольгу, Тинфур пошел в село. Так тихо было в стойбищах, когда к людям приходила черная оспа. Выла собака, звала на людей беду.

Навстречу шел человек. Походка вялая. Похож на родного сына Силова, так же скуласт, черняв. Поравнялись. Вдруг незнакомец положил руку на нож, строго спросил:

– Откуда? Чей?

– Тебе буду Андрейка Силов, а моя буду Тинфур, Алешка буду.

– Тинфур! – Андрей Силов даже присел. – Чего тебя занесло в наши края? Ответствуй!

– Своих захотел посмотреть, свою землю увидеть.

На крыльцо выскочила Меланья, долго смотрела на гостя, узнала, раскинула руки, бросилась к Тинфуру, обняла, запричитала:

– Тинфурушка, каким ветрам тебя занесло к нам? Думала, что убили тебя вражины, так и не свидимся. А тайга гудит, идут супостаты по твоим следам. Постерегись! Заходи в дом. Андрей, зови Ивана, друзей наших зови. Да не вздумай продать нашего гостя! – посуровела Меланья. – Своими руками порешу.

– Не пужай, не пужай. Я, чай, человек, а не перевертыш.

– Знаю я тебя, можешь стать и перевертышем.

Сбежались друзья, знакомые, начались воспоминания:

«А помнишь, как ты ночью поднял народ, когда деревня уже была затоплена? Вот спали, так спали. Чуть самих в море не унесло».

Подали на стол рыбу, мясо, водку, выпили, и загудела изба голосами, помолодела старая Меланья, жена вожака пермяцкой ватаги, Феодосия Силова, который привел сюда людей в поисках бедняцкого счастья.

Тинфур задумался. Ему вспомнилась одна из суровых зим, когда в их стойбище вспыхнула оспа. Русские спасли его семью. Они спасли многих. Возили на санях больных, укладывали на широкие печи, отпаивали малиновым чаем. Сами заразились, даже многие умерли, но никто не попрекнул удэгейцев, что кто-то умер из-за них.

Надвинулись сумерки, в речной забоке застонала и заплакала ночная птица. Громче залопотали ключи, слышнее стал монотонный говор реки. Подал свой голос филин, вылетая на охоту. Грозно залаял гуран за латкой тумана. От реки потянуло черемуховым запахом. Тишь...

И вдруг эту тишину оборвал заполошный детский крик:

– Дяденька Тинфур, спасайся, деревню окружают казаки!

– Кто показал, что Тинфур у нас? – грохнул по столу кулаком Иван Воров. В силе еще старик, хотя ему уж где-то под девяносто. Рванул свою бороду-лохматень, которая к старости почти вся выбелилась.

Подалась вперед тихая и согбенная Харитинья. Вскочила с лавки Меланья, уперлась в глаза Андрею Андреевичу. Тот спокойно ответил:

– Не в подзоре я. Сказал, не выдам Тинфура, и баста.

– Галька Мякинина их привела, – хором зазвенели мальчишеские голоса. – Окружают!

– Спасибо за все! – поклонился Тинфур, схватил винтовку, питаузу и бросился из дому.

Припоздала с доносом Галька, как ни спешил Баулин. Тинфур нырнул в сумерки и растаял – вслед ахнули выстрелы, вжикнули пули. Он шел как рысь. Поднялся на сопку, спустился в распадок, перевалил еще одну сопочку. Остановился у ключа-хлопотуна, чтобы немного поспать. От водки кружилась голова, а когда кружится голова, какой же воин из него. Казаки в ночь не пойдут искать, да и днем побоятся подставлять себя под пули. Пермяки же не поведут. А Галька баба...

Тинфур вспомнил эту женщину, жену убитого Лариона Мякинина, но такой, какой она была двадцать лет назад: чернявая, скорая на ногу, чуть злая.

Ларион мстил русским, хотя сам был русским. Мстил за то, что они хотели повесить его отца, который убил на Амуре инородца. Мстил за то, что его не однажды пороли за нарушение заповедных мест. Он связался с шайкой хунхузов и хотел руками пришлых бандитов грабить и жечь деревни. Вместе с ними он плавил тайком серебро в долине Кабанов, но их разогнал пристав Харченко. Шайку разбили. У Мякинина оставалось много золота. По его следу повел казаков Тинфур. Они догнали Лариона и убили его. Галька объявила кровную месть Тинфуру. Не будь Тинфура, Ларион был бы теперь первым богачом не только в деревне, но и во всем уезде...

Права ли Галька, что привела казаков, чтобы схватить Тинфура?

– Да, права, – вслух проговорил Тинфур. – Но я не должен на нее обижаться. Я объявил кровную месть всем грабителям этой земли, так пусть и они не обижаются. Если убьют в бою, то пусть и моя душа не таит обиду. Тот, кто объявил кровную месть, тот уходит под защиту духа гор. Теперь я объявляю кровную месть еще и Баулину. У меня много врагов. Но враги не знают мое лицо. Кто его видел, того уже нет. Галька не видела моего лица. Это хорошо.

Тинфур-Ламаза не пошел по «широкой тропе». Тяжело идти таежному человеку по такой тропе: не пружинит привычно земля под ногами, обутыми в мягкие улы, скоро заболят пятки, будто их побили палками. Шел по глухим тропам, чтобы встретиться с приставом Баулиным.

4

Ветер, как шальной, метался над бухтой, солками, гремел драньем на крышах, гнул дубки в дугу. Дождь пригоршнями, наотмашь бил по земле, по лицам людей, заплаканным стеклам. Грохотал шторм, чуть вздрагивала земля. Ни зги. Лишь чуть теплился огонек в окне дома пристава, топтался на крыльце продрогший часовой, что-то ворчал себе под нос. Закутался в дождевик, присел за ветром.

Тинфур-Ламаза не забыл этот дом, здесь жил когда-то пристав Харченко, добрейшей души человек. Раздался короткий вскрик. Казак замычал с кляпом во рту. Легкий стук в двери поднял с постели пристава. Заворчал:

– Ну чего тебе надо, Куликов?

– Выдь, ваше благородие, из города причапали, – хрипло ответил Тинфур.

Щелкнул крючок, открылась дверь, ствол винтовки уперся в грудь Баулину. Он подался назад, без окрика поднял руки вверх.

– Не шумите, ваше благородие, это я, Тинфур-Ламаза. А за дверью мои друзья. Где твое оружие, ваше благородие?

– Револьвер под подушкой.

– Где бумажка, что читал ты по хуторам и деревням?

– Бумага в сейфе.

– Дай ключи от сейфа. Очень прошу ради твоей же жизни стоять спокойно: Тинфур может убить тебя. Вот та бумага, читай.

– «Граждане, в тайге бродит бандит Тинфур по кличке Ламаза. Он много лет назад убил исправника, а затем казака. Он поклялся, что перебьет всех русских людей, пожжет их деревни. Тинфур по кличке Ламаза объявлен вне закона. Всяк может его убить и принести голову для опознания. Кто сотворит это добро, тому будет выплачено вознаграждение в пять тысяч рублей серебром. Не бойтесь, Тинфуришка не так страшен, как его хотят представить инородцы».

– Твой язык лжив, как лжива и рука, которая писала такое. Ты сказал, что я не страшен, а я вот тебя сейчас напугаю, распорю живот и не буду зашивать, ты умрешь как собака, раненная кабаном.

Баулин попятился.

– Боишься. Но я тебя не трону, я дал слово, что русских не буду убивать. Тот казак был последним. Но если ты будешь ходить по моим следам, я тебя убью. Имею право и сейчас убить, потому что объявил тебе кровную месть. Но эта месть будет без крови. Где деньги, которые ты обещал за мою голову?

– Там же, в сейфе, на верхней полочке... Тинфур, я тебя арестую. Ты не смеешь меня грабить!

– Когда волк сидит в петле и говорит, что я съем тебя, охотник, охотнику делается смешно. А потом эти деньги мои, ты их обещал за мою голову, голова моя здесь, вот я их и заберу, чтобы другие не снимали головы с невинных. Ведь тебе уже приносили голову какого-то Тинфура. Не хочу, чтобы еще несли чужие головы вместо моей.

Тинфур забрал тугие пачки ассигнаций, сунул их за пазуху.

– А теперь дай мне твои руки, я их свяжу сзади, чтобы ты не выстрелил мне вслед. Тинфур не любит, когда ему стреляют вслед, не переносит противного визга пуль. Еще ты можешь поднять крик. Крика я тоже не люблю. Открой рот, забью в него тряпку. Прощай, господин Баулин!

Тинфур сунул Баулину в рот кляп, вытер руки, не спеша вышел. Ночь поглотила его.

На звериных тропах повстречал Тинфур своих старых дружков удэгейцев Календзюгу и Арсе. Постояли на Сихотэ-Алинском перевале, выкурили по трубке, пепел выбили в углуб-

ление кумирни, что высилась на перевале. Пусть духи гор докуривают что осталось. Начали спускаться в Березовый ключ, по нему хотели дойти до Щербаковки, чтобы тропой выйти к бородатым людям.

Но в пути произошла заминка. Тинфур-Ламаза вдруг услышал среди бела дня крик совы. Насторожился. Спросил Календзюгу и Арсе:

– Вы когда-нибудь слышали, чтобы в солнечный день кричала сова?

– Нет. Сова днем не кричит, сова в такой день спит.

– В дождливую погоду я слышал ее крик, но чтобы при солнце – нет. Это перекликаются люди, которые сторожат тропу, – сделал вывод Тинфур. – Свернем с тропы и пойдем целиком.

Шли осторожно, будто зверя скрадывали. Старались не наступать на валежины, не дотрагиваться до кустов, чтобы никто не услышал их приближения.

Прозвенело кайло, лязгнула лопата. Ветерок донес приглушенные разговоры. Кто-то вскрикнул. Друзья вышли на взлобок, густо поросший орешником. Из-за чащи увидели полянку, на которой работало около двадцати человек. Одни подавали из шурфов бадьи, вторые их поднимали, третьи на тачках подвозили бадьи к речке. Здесь в примитивных бутарах промывали породу. Тинфур сказал:

– Эти люди моют золото. Но моют не себе. Смотрите, вокруг полянки стоят люди с винтовками. Вон бородач сидит на пне, держит в руках винтовку и на всех кричит... Значит, кто работает, те пленники...

– Ты прав, Ламаза, этих людей мы должны освободить, – подал голос Арсе.

– Держите на прицеле тех, кто с винтовками, а я подползу к пленникам. Слова скажут больше, чем глаза увидят.

Тинфур подполз к лагерю. Среднего роста крепыш поливал породу водой, огромный же бурый бородач шуровал в бункере лопатой.

Зорки глаза у Тинфура, далеко слышат уши. Охранники тихо переговаривались, они стояли парами.

– Много намыл золота Замурзин. Как делить будем?

– Половина его, остальное поделят между нами.

– Боюсь я Замурзина. Страшный это человек. Он сказал: «Бери своих бродяг и пошли мыть золото. Будем ловить охотников на тропах, делать их рабами. Как намоем много золота, то всех уьем».

– Почему ты боишься Замурзина?

– Убьет он не только наших пленников, но и нас убьет. Такие люди своего не отдают.

С гор начали наплывать сумерки. В ложках застыли туманы. Дрогнула первая звездочка на западе. Кольхнулась тайга, замерла и вмиг уснула. Пленников бандиты накормили, затем крепко связали веревками, и все залезли в шалаши. У каждого шалаша встали часовые.

Стемнело. Ночная тишина разлилась над тайгой. Пролетела сова, тронула бесшумными крыльями теплый воздух, ушла в низовье речки. Заверещал заяц. Знать, попал в когти совы. Среди кустов замерцали светлячки, словно чьи-то души пришли посмотреть на людей-зверей. Тех, кто сторожил и заставлял пленников работать, иначе назвать было нельзя.

Ровно горели костры у шалашей, около них дремали часовые. Они были уверены, что никто не потревожит их сон, пленники накрепко связаны, тропы сторожат дозорные. Здесь никто не пройдет незамеченным.

Но Тинфур ужом полз среди шалашей. Подполз к шалашу страшного Замурзина, затаился и стал слушать.

– Давай, Замурзин, кончать эту лавочку. Намыли ладно, не влипнуть бы. Это ить хуже разбоя, коим мы занимаемся в Расее.

– Ладно намыли, почитай, пуд будет. Еще день, и будем кончать с этим базаром.

– Слушай, может быть, не будем всех убивать? А? Надоела мне эта кровь.

– Тиха, дура! Услышат. Кровей не будет. Всех опую настойкой борца, и предстанут они перед богом чисты и праведны. Завтра пирушка – и завязываемся. Тогда гуляй, Расея.

– Уходить надо в Китай.

– С таким золотом хошь в Китай, хошь в Америку.

– Хорошо, завтра кончаем, душа ныть чтой-то начала.

– Не трусь, Прокоп. Все грехи падут на мою душу. Ты останешься чист, ако святой.

Аминь. Спи.

Тинфур подполз к шалашу, где лежали пленники. Раздался стон, затем проклятие:

– Будь они прокляты, всю ноченьку лежишь спеленат, завтра снова робить, – гудел кто-то густым басом. Наверное, буробородый.

– Робил бы, но ить нас отседова живьем не выпустят. Эх, хошь бы махонький ножичек, ослобонился бы – и в тайгу.

– Жаль умирать.

– Не ной, Силов, может, живьем отпустят. Мы ить ладно им помогли.

– Не ныл бы, но ить знаю я этих зверей. Оба беглые, с каторги. Убивцы. Что им человек – как для тя букашка, так им и человек. Звери и то бывают добрее.

Друзья подкрались к шалашу. Тинфур убрал часового, прополз в шалаш, тихо прошептал:

– Я Тинфур-Ламаза, не шумите...

Кто-то ойкнул и подался назад.

– Сейчас я перережу веревки, и вы все осторожно выползайте.

Заскользили тени в ночи. Раздался тупой удар кайла, второй, кто-то вскрикнул, промычал. От затухающего костра поднялся охранник, крикнул. Но крик его тут же оборвался, он упал, начал сучить ногами по истолченной земле.

Ночная тишина нарушилась таинственными шорохами. Календзюга, Арсе и Тинфур-Ламаза крались к другому шалашу.

Из шалаша выскочили Замурзин и Прокоп, дали прицельный залп по теням из винтовок, кто-то застонал, покатился по отвалу породы. Но на бандитов уже навалились, началась свалка. Замурзин рычал медведем, разбрасывал пленников, как щенят, выхватил из-за пояса револьвер, но оружие у него выбили, заломили назад руки.

Рассвело. Оборвались выстрелы. Лес ожил. Пробежал мимо бурундук по своим делам; задрав хвост, цокнула белочка, профыркали на сопке рябчики.

Замурзин стоял перед своими бывшими пленниками, оборванными и худыми, косматыми и грязными.

– Замурзин, ты когда потерял лицо человека? – спросил тихо Тинфур-Ламаза.

– Не твое собачье дело, гад косоглазый! – рыкнул Замурзин. Он был включен, похож на медведя-подранка, который встал на дыбы, чтобы навалиться на охотника.

– Арсе, сходи в балаган и принеси банку со спиртом. Я хочу угостить Замурзина, – усмехнулся Тинфур.

Арсе принес спиртовую банку.

– Пей, Замурзин!

Замурзин качнулся, сжал губы.

– Пей, ты смелый человек, сильный человек. А может быть, трусишь?

– Наливай, все одно жизнь пропащая! – выдохнул Замурзин.

Ему налили кружку спирта. Он закрыл глаза и одним духом выпил отраву. Коричневатый настой спирта потек по бороде, жилистой шее. Задохнулся. Рванул ворот рубахи, схватился за горло. Закачался. Глаза полезли из орбит. Глухо замычал. Начал медленно оседать. Сел на землю. Согнулся от жуткой рези в животе, будто в него влили расплавленный свинец. Упал. Покатался... Открыл глаза, опалил диким взглядом Тинфура, дернулся и затих.

Золото делили на глазок. Каждый засовывал кожаные мешочки за пазуху, пряча глаза, спешил скрыться в тайге, прихватив с собой винтовку, что добыл в ночном бою. Получил свою долю и рыжебородый. Он так и не назвал свое имя. Метнулся в чашу и ушел в низовья речки.

Федор Силов еще был молод, но вел себя достойнее других, хотя ему тоже не терпелось получить свою долю и он все поглядывал на кожаный мешок, из которого так быстро убывал золотой песок.

– Ты сын Андрея Силова? – спросил Тинфур-Ламаза. – Мою долю отдайте ему, его отец живет плохо, а раз плохо живет, стал злой.

Вздыхала от ветра тайга. Тяжко с пристаныванием вздыхала. И тут вдруг раздался одиночный выстрел: нашел в себе силы охранник поднять винтовку и сам ухнул лицом в землю. Арсе и Календзюга видели, как подломился и упал Тинфур.

Хоронили Тинфура на вершине сопки, пусть любитесь тайгой. Федор Силов вытесал дубовый крест. Никто ему не перечил. Может быть, то было кошунство – ставить крест иноверцу, да пусть в этом господь бог разбирается...

5

Осень. По небу бежали хмурые тучи. Из них вырывались дожди и снега. Выли ветры. Стало скучно в тайге и неуютно. Порыжели горы, насупились, как больные изюбры, взъерошили свою шерсть. Ощетинились голые деревья. Тихо рокотали ключи и речки. Из труб домов вырывались косые дымы, тут же таяли на ветру.

На сходе секли розгами Устина Бережного. Поделом варнаку! Небывало поздно над деревней пролетала стая лебедей. Устин сдернул свой винчестер со стены, прицелился в лебедя и выстрелил. Как ни высоко были птицы, но он подбил одну, ранил ей крыло. Отец Устина Степан Бережный сказал:

– Хошь и сын мой, хошь и люб он мне за добрый выстрел, но сечь, на глазах всех мальцов сечь, чтоб другим было не повадно. Лебедя убить – сто грехов сотворить. Сечь!

Всыпали шестнадцать розог для начала. Секли погодки Устиновы – Селивонка Красильников и Яшка Селедкин, каждый по восемь розог. Не закричал Устинка, не запросил пощады, не застонал даже: знал, что виноват. Алексей Сонин почесал свой заросший затылок – завтра баба Катя подстрижет его под горшок, буркнул:

– Ладный волчонок вырос. Он тебе, Степан Ляксеич, еще зубки покажет. Такой гольян, а сдюжил, голоса не подал. М-да!

Устинка еще не отошел от сечи, а тут снова деревня забурилась. Те, кто уже собрался на охоту, вдруг развьючили коней, трусцой побежали на сход, но винтовок из рук не выпустили.

В деревню вошел отряд казаков во главе с ольгинским приставом Баулиным. Бородачи в косулиных дохах, волчьих накидках, просто в зипунах, но все в косматых шапках, то ли из рыси, то ли из выдры, харзы или лисы, надвинулись, обступили казаков, все при оружии. Насуплены, насторожены. А кое-кто уже тайком снял затвор с предохранителя. Береженного бог бережет. Раскольники сурово смотрят на своего наставника – ждут, что он скажет. Степан Бережный вдруг взорвался, закричал:

– Перевертыш! Ты кого привел в нашу деревню?

– Погодите, мужики, – поднял руку Баулин. – Не с войной мы пришли к вам, с миром. На то есть приказ самого Гондатти. Вам подарки приказал передать, – поморщился пристав. Посмотрел на дома, на деревню. Да, широко живут раскольники, ладно живут. Таких шевельнуть – можно много золота набрать. Но... – Эй, Кустов, гони коней с вьюками сюда! Разгрузай. Гондатти послал вам двадцать винтовок и пять тыщ патронов. Получай кто у вас здесь за старшего. Вот в этой бумажке пусть поставит свою фамилию.

– Дед Михайло, иди поставь свою роспись с вязью, – позвал старого учителя наставник, чтобы свою фамилию до времени не расписывать в казенных бумагах.

– И еще есть письмо. Кто будет читать?

– Дед Михайло и прочитает, – снова подал голос наставник.

Дед Михайло читал:

– «Спаси вас бог, русские люди! Кланяемся вам за вашу храбрость и радение к нашей земле, к земле Российской. Не даете грабить таежных людей. Бог с вами. Берите эту землю в свои руки, стерегите ее. Вам еще надлежит приструнить браконьеров-лудевщиков. Уничтожить лудевы и гнать в три шеи грабителей. Не допускайте рубок дубов, порчи кедрочей. Это наша с вами земля. Забудем наши разногласия, с богом и с миром отстоим ее, родимую. Земно кланяюсь, ваш Гондатти». Господи Иисусе Христе, сыне божий, дожили, когда нам казенные люди стали слать благодарственные бумаги. Почитай, второй век доживаю, первый раз такую бумагу прочел, – широко перекрестился дед Михайло, смахнул набежавшую слезу, то ли от ветра она вытекла, то ли еще от чего-то. – Аминь. Кланяйтесь вашему доброму Гондатти и от нас. За доброту оплатим добротой. Спаси его Христос за подарки. Самым неимущим отдай винтовки, а патроны поделим поровну.

– Ладно, Баулин, прости. Не ждали мы от властей такой щедрости. Прав ваш Гондатти, что вера верой, а земля обчая. Будем стоять крепостью. Не дадим варначить никому на этой земле. Мужики, зовите казаков по домам, с дороги-то оголодали они. Не жалеете медовушки для сугрева. Пошли в мой дом, ваше благородие, посидим рядом да потолкуем ладком.

Удивлялись казаки тому уюту и чистоте в домах раскольников. Все под краской, стены под лаком, на окнах белые занавески, вышитые причудливыми рисунками. А уж чистота, то и плюнуть некуда. Ели, конечно, и пили из другой посуды, из мирской, которая была приготовлена для гостей-никонианцев.

Один казак хорошо подпил и брякнул:

– Сказывают, что вы пришлых кормите из той посуды, что собаки едят.

Алексей Сонин степенно ответил:

– У нас ежели хошь знать, то собаки едят из корыт. А как вы видите, на столах нет ни одного корыта. Ежели хошь, то могу покормить из корыта: Верный, кажись, не доел ополоски.

Потом был совет старейшин, старики сочиняли ответное письмо Гондатти. Дед Михайло вязью писал: «Господин Гондатти, спаси вас Христос за столь щедрый подарок и доброе письмо. Вам должно быть явственно, что мы пришли сюда, как всяк люд, жить и обихаживать эту землю. Но вы должны также знать, что мы пришли сюда не по своей воле, а были изгнаны с земли сибирской. Если нас погонят еще отсюда, то уж мы не знаем, куда и бежать. Но по вашему письму видно, что пришел тот срок, когда надобно забыть все ссоры, распри, не преследовать людей за старую веру, и они будут вашими друзьями. Родина станет много милее.

Кланяемся вам и молимся за ваше здравие. Истинные христиане. Аминь».

– Надо убрать слова «молимся за ваше здравие», – запротестовал Степан Бережнов. – Мы ить не выговцы-самаряне, кои согласились молиться за царя-анчихриста.

– Оставим эти слова, еще никому не ведомо, за кого нам придется молиться, – с нажимом сказал дед Михайло. – Кашу маслом не испортим, написано – это еще не сделано.

Все согласились.

Уехали казаки, ушли в тайгу охотники. В деревне остались бабы и старики, парнишки и малые дети. Ребята с бабами будут охранять деревню, головой же этой ватаги, как всегда, назначили деда Михайлу.

Но через неделю он заболел. Как ни врачевала его своими травами баба Катя, он быстро сгорел, как свеча на ветру. Попросил, чтобы старики его причастили, будет, мол, умирать.

– Пора и честь знать. Отцов пережил, детей пережил, внуков тож. Будя топтать зряшно землю. Зови мое воинство, хочю им слово сказать да завет свой передать.

Пришло Михайлово воинство, пришли и старики. Михаил Падифорович приподнялся на подушках, сказал:

– Старики, слушайте мою заповедь: причастить, соборовать, предать земле. Тебе, Аким, сын Алексеев, продолжать учение. Тебе, Макарка Сонин, продолжать мою летопись. Ежели я в чем-то был не прав, то запиши в летописи, что дед Михайло смуцал наши души, восставал против слова божия. Пиши, как душа восхочет. Мои же записи сбереги для людей наших. Вам, побратимы, – жить в дружбе и согласии. Остальным быть честными, праведными. Коли кто сойдет с этой стези, значит, дед Михайло не смог научить добру. Все уходите, заходит солнце, буду часовать. Прощайте, люди!

Упал на подушку и начал часовать. Устин бросился к любимому деду, истошно закричал:

– Деда, не умира-ай! Не умира-ай!

– Идите, детки, по домам, деда Михайло прожил долго и праведно, царство ему небесное, – подталкивала баба Катя ребят к двери. – Иди и ты, Устинушка. Тяжко умирает человек, но ить учил же вас деда Михайло, что человек на земле гость, только добрый, кой не делает зла.

Ушел Устин вялый, долго бродил за поскотиной, без дум, с какой-то отрешенностью. Это первая смерть любимого человека в его жизни. Сколько их будет еще?

Пришли побратимы и увели Устина домой.

Глава третья. Побратимы

1

Тайга... Куда ни посмотри – тайга. То насупленная, то ласковая. И живут люди в этом непролазном лесу. Кажется, их совсем не тревожит, что мир окрутился в тугую пружину, что скоро пружина лопнет, раскрутится и натворит бед. Никого не обойдет, всех зацепит своим концом. Но нет, раскольники пристально следят, что творится в миру. А в том миру зло, грехопадение и нет добра.

В письме Гондатти вроде бы ничего особенного и не было: благодарность, призыв защищать эту землю, желание жить в мире. Но для раскольников – это особый знак. Прежде их гнали, травили – и вдруг признание. То письмо долго обсуждалось, его затвердили наизусть ученики, о нем спорили на Большом и Малом советах. Большой – это когда собирались на совет все деревни, Малый – совет стариков. Письмо летописец Макарка, которого уже называли Ляксеич (ведь тот, кто пишет историю своего народа, – почетный человек), наклеил на плотную бумагу летописи.

Из Спасска привез Высочайший манифест Алексей Сонин. Он ездил продавать пушнину и мед. Уже была пробита санная дорога. Манифест Макарка тоже наклеит на страницы летописи, занесет в книгу бытия.

«26-го февраля 1903 года. Божиею милостию мы, Николай Второй, Император и Самодержец, царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая...

Объявляем всем подданным:

Изволением промысла Божия, вступив на прародительский престол, мы приняли священный обет перед лицом Всевышнего и совестью нашей блюсти вековые устои державы Российской и посвятить жизнь нашу служению возлюбленному отечеству...

...Укреплять неуклонное соблюдение властями, с делами веры соприкасающимися, заветов веротерпимости, начертанных в основах законов Империи Российской, которые благоговейно почитают Православную церковь первенствующей и господствующей, представляют всем подданным нашим инославным и иноверным свободное отправление веры и богослужения по обрядам оной...»

Прочитав манифест, Степан Алексеевич вскинул два пальца вверх, воскликнул:

– Наша взяла! Не уgomонили предки наши царя Алексея Михайловича, так уgomонили мы, наша братия, царя Николая Второго! Победа!

– Не секоти! – хмуро оборвал Бережного Булавин. – Не сучи ногами-то. А подумай, для ча нам сделана такая уступка? На мой погляд, царь сделал такую отступку, потому как силов у него маловато, чтобы свой народ придушить. Ить колготится он, бунтует. Чуть приласкает нас, разных иноверных и инославных, а мы будем за его другим глотки грызть. «Наша взяла», – передразнил наставника Макар Булавин.

Макар единственный человек, который смело мог разговаривать с Бережным. Теперь он был самым грамотным и мудрым в селе человеком. Ушел дед Михайло, стал вместо него Макар Булавин.

– Взяла, хотя бы потому, что царь пошел на попятную, – не сдавался Бережной.

– Эхе-хе, мало же ты перенял от деда Михайлы, скоро забыл историю царствования царей, историю российскую. Петр до тех пор уступал нашим, пока они были выгодны ему и не опасны. Потом жамкнул – и нет выговцев. Остались ошметки, так их Катька-сука дожевала, а Николай Первый совсем разогнал нашу братию. Этот хочет всех примирить, друзей-то мало

осталось, мы хоша и плохи друзья, а в трудный час можем сгодиться. И почнем ему из загнетки жар голыми руками загребать. Староверы-беспоповцы – извечные враги царя, теперь будем друзья, из одной чашки тюрю хлебать. Это не победа, а отступка, потом мы закрихтим от нее.

– Что советуешь делать?

– Еще быть осторожнее. Жить в мире не с царем, а с бедным людом. В них наша сила и подмоги.

Бережнов беспокойно заходил по горнице, пощипывая свою бороду.

– Лесть врага – опаснее брани. Не удивлюсь, если ты, Степан, станешь служить верой и правдой царю.

– Не быть тому! – рыкнул Бережнов. – Испокон веков наши не служили царям, и я не буду. Другой сказ, что станем жить в мире с никонианцами.

– Верно подметил дед Михайло, что зряшно мы косимся на простой люд, не по воле своей стали они никонианцами, а по принуждению. Коситься надо на тех, кто высится над ними.

– Я первым сказал, что дружить надо с хохлами.

– Праведно сказал, слова надо еще отлить в дело. А царю не верь и народ к той вере не зови. Пока не вырвали у змеи жало, нельзя пускать ее за пазуху. Во многом я разуверился.

– Ха-ха, ты поди и во второе пришествие Христа не веришь?

– Может быть, и не верю, как не верил дед Михайло. В доброту людскую верю, в разум и мудрость верю, что придет такой час, когда все будет так, как того хотел Исус Христос. Может, и не сам-то Исус Христос придумал, а люди к тому душой дошли. Потому как гонимых на сей земле множество, столько же и в нищете пребывают. Вот и зародилась мечта о совершенном государстве.

– Эко куда ты гнешь, так можно договориться, что и бога нет, а есть только человек. Да?

– Можно и договориться, что нет бога, а есть всеобщая доброта.

– М-да, перехватывать ты стал, Макар Сидорыч. Затмил те мозги дед Михайло-то. Не здря мы вам не дали воли в учении.

– Кому затмил, а кому-то и просветил.

– Ну-ну, поживем – увидим. Запрет на мирские книги отменим. Всем следить, что деется в миру. Тебя, Макар Сидорыч, тоже касаемо.

– То праведно, что знать нам надо, чем жив мир.

Падали листья с кленов, текли годы. Приходили вести, что бунтует Россия и в Питере, и в Москве, и в Риге – почитай, во всех крупных городах.

– Вот начало той свары, – шумел Макар Булавин. – Вот для ча царь восхотел накормить двумя хлебами весь народ.

27 января началась война с Японией.

Русские войска, плохо обученные, плохо вооруженные, несли большой урон. В декабре пал Порт-Артур.

12 декабря вышел Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату. Там было сказано: «...Для укрепления выраженного нами в Манифесте 26-го февраля 1903 года неуклонного душевного желания охранить освященную основами Империи терпимость в делах веры, подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от сего принять ныне же, в административном порядке, соответствующие меры к устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не установленного, стеснения...»

Произвести пересмотр действующих постановлений, ограничивающих права инородцев и уроженцев отдельных местностей Империи, с тем, чтобы из числа сих постановлений сохранены были лишь те, которые вызываются насущными интересами Государства и явною пользою Русского народа...»

– Ха-ха! – усмехнулся Макар Булавин. – Пошло, поехало. Завтра жди, что нас и в армию почнут призывать. Вона и инородцы стали гожи. Поверь мне, Степан Ляксеич, что не к добру они стали нас пригревать. А ты и рот раззявил. Погоди, то ли еще будет.

– Ты, Макарушка, не шуми, нас пригревают, пошто же мы должны спиной повертаться? Сказано же в Указе, что осуществление таких начинаний встречено будет сочувствием благомыслящей части наших подданных, которая истинное преуспевание Родины видит в поддержании государственного спокойствия и непрерывном удовлетворении насущных нужд народных.

– Не буду удивлен, Ляксеич, ежели ты пойдешь стрелять в русских людей, потому как они нарушили государственное спокойствие. Пойми, кто однажды душой погрешил, тот и второй раз тоже исделает. Ты уже исделал.

Не ошибся Макар Булавин. В мае 1905 года в Каменку приехало уездное начальство. Оно приехало не для того, чтобы мобилизовать парней на войну, а предлагало добровольцами на фронт.

Пристав трубным голосом зачитал Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату от 17 апреля 1905 года. Об укреплении начал веротерпимости.

В нем, в частности, говорилось:

«...Присвоить духовным лицам, избираемым общинами старообрядцев и сектантов для отправления духовных треб, наименование “настоятелей и наставников”, причем лица эти, по утверждению их в должностях надлежаще правительственной властью, подлежат исключить из мещан или сельских обывателей, если они к этим состояниям принадлежали, и освободить от призыва на действительную военную службу...»

К этому Указу были приложены всяческие разъяснения, положения, которые поставили старообрядцев в один ряд со всеми гражданами России.

Степан Бережнов стал в округе духовником, приставом, судьей и воином.

И тут же загорелся сыр-бор. Макару Булавину сделали наставление как человеку, который подбивает народ на бунт. Бережнов наложил на него епитимью. Тут же написал собственной рукой десять бумажек со словами: «На войну», опустил сорок пустых, создав со всех трех деревень парней. Начали тянуть жребий.

Десять ушло на войну, с ними и сын Макара Булавина. Макар с горечью сказал:

– Всех примирил, всех накормил двумя хлебцами. Ключули на живца. Будут наши парни проливать кровь за царя-анчихриста, дьявольскую печать защищать.

Через тайгу шли слухи, что под Мукденом разбили наших, там будто бы сложили свои головы и «добровольцы». Вскоре пришел слух, что разгромлен русский флот под Цусимой. Снова из-за кордона стали делать набег хунхузы.

Степан Бережнов разослал гонцов по деревьям, чтобы дружинники были наготове: котомки под руки, спать с ружьями в обнимку, выбрать командиров, держать коней под седлами. Послал побратимов посмотреть за удэгейским поселением. Вообще удэгейцы очень дружелюбно относились к русским. И все же... Недавно Гамунко встретил Степана Бережнова, плюнул ему под ноги – значит проклял, а все за то, что русские солдаты бегут от японцев.

– Ваши стали трусливы, сюда могут ходи японцы, тогда наша пропади.

Устин и Журавушка залегли на сопке, откуда хорошо просматривалось поселение. Удэгейцы пришли сюда из долины Зеркальной. Думали, здесь, под боком у русских, им будет спокойнее.

В деревне тишина. Лишь редкий удэгеец выйдет из чума.

– Эко дети, хунхузы могут набежать, а они спят себе.

В поселении десять чумов, которые расположены друг от друга на добрую сотню шагов. Устин поправил винчестер, который стволом смотрел на поселение. Журавушка спросил:

– И чего мы засели тут сторожами? Пойти бы к ним и сказать об опасности.

– Тять запретил, мол, Гамунко вел себя дерзко. Придем к ним, а они схватят нас, пока суд да дело, а тут подойдут хунхузы и снесут нам головы. Надо сидеть и ждать.

И вдруг поселение всполошилось. Забегали мужчины, закричали дети, женщины.

На тропе показался отряд в двадцать человек. Хунхузы спокойно вошли в поселение. Их было в два раза меньше, чем мужчин-удэгейцев. Но они запросто отобрали у них оружие, а затем потребовали оленьи жилы, корни женьшеня, деньги.

Крики, плач, гвалт. Но никто ничего не нес хунхузам.

Хунхузы долго били и пытали удэгейцев, заставили их нести женьшень, жилы, деньги, набили грабленным питаузы и тронулись в сторону русских деревень.

Степан Бережнов на взмыленном коне подлетел к переправе. Прискакали и побратимы, они коротко рассказали, что было в поселении удэгейцев.

Хунхузы пришли утром к реке, где был паром. Паромщик стал у руля, блочок заскрипел по тросу. Охотники затаились в окопах.

Паром вышел на середину речки. Утреннюю тишину разорвал четкий залп. Стреляли неприцельно, чтобы только пугнуть.

Откачулся от берега туман. Вылетел на косу встревоженный куличок. Над сопками поднялось солнце. Потянул свежий ветерок. Сбило росу с налитых колосьев пшеницы, взволновало травы.

Паром повернул назад...

А на берегу моря было тоже тревожно. Японцы заняли устья нерестовых рек, ловили во множестве лососевых, грузили на пузатые шаланды, а те уплывали в Японию. Это был организованный грабеж от бухты Голубой реки и до Большой Кемы.

Пристав Баулин с начала войны по приказу организовал дружины, или охотничьи отряды, во всех прибрежных селах Ольгинского уезда. Здесь дружинники не давали варначить японцам, но за бухтой Ольги никто грабителей не трогал.

Зима прошла в тревоге. Война грохотала на юге, могла перекинуться и сюда. Дружинников не распускали. Они жили отрядами в деревнях, даже не уходили на охоту.

Федор Силов отпросился у Ивана Пятыйшина сходить на охоту.

– Оголодали ведь, хошь изюбряка убью. Сам видишь, как живем-то. Ну пусти, приду в целости и сохранности.

– Ладно, сходи уж, но только далеко не бегай.

Пройдя Безымянный ключик, Федор спустился к бухте Ольги. От него чухнули кабаны. Он выстрелил по секачу, пуля зацепила зверя по задку; оставляя кровавый след, кабан устремился в сопки. Жалко было охотнику бросать подранка, который шел уже по черной тропе. Но след его был хорошо виден. Кабан шел в сторону Тумановки. Федор несколько раз видел зверя, но выстрелить не успел. Кабан уходил. Федор выбежал на сопку и увидел в море большой корабль. Он на всех парах шел в бухту Владимира. Стал виден андреевский флаг, а затем охотник смог прочитать и название судна – «Изумруд».

До побережья уже дошли вести о разгроме русской эскадры под Цусимой, о гибели отважного крейсера «Варяг». В бухте Ольги на Каменном мысу еще до войны был построен телеграф, он-то и рассказал правду людям.

Федор Силов с друзьями часто рыбачили в бухте Владимира, ловил корюшку, симу, окуней. Он знал здесь почти все мели. «Изумруд» шел на мель.

Федор сорвал с головы шапку, истошно закричал:

– Э-э-эй! Куда ты прешь! Здесь мель! Э-э-эй! Стой-те-е-е!

Крейсер со всего ходу врезался в песчаную мель. На пароходе что-то загрохотало, сломалась мачта. Люди забегали по палубе, начали опускать шлюпки на воду, поспешно грести к берегу.

– Эко, куда же их гонит-то? – удивился Сиров, подбегая к прибойной кромке моря. – Ить за ними никто не бежит, с чего бы это?

Из первой шлюпки выскочил капитан, воровато оглянулся на море, облегченно вздохнул и с акцентом сказал:

– Как ни хорошо море, а земля русски лучше.

– Это от кого же бежите, ваше благородие? – спросил капитана Сиров.

– От чертей. Ты разве не знаешь, что все море заселил этот черт, японский черт?

– Да никаких тут японцев нету, есть их шаландешки, так мы по лету все попадим. Вот те крест – попадим.

– Приготовить судно для взрыва, японец может взять крейсер, – приказал капитан.

Матросы выходили из шлюпок со слезами на глазах. Одни матерились, другие ошалело смотрели на корабль, часто-часто крестились, третьи плакали навзрыд, кричали:

– Не надо взрывать, судно село на песчаную мель, с приливом снимем! Не надо-о! Нет здесь японцев!

– Не взрывать! Стойте! Ведь это боевая посудина! Проклинаю! Будь ты проклят, немчура! – закричал молодой офицер, выдернул из кобуры револьвер и выстрелил себе в висок. Подломились ноги, он упал головой к морю. Тугая волна лизнула его русые кудри и откатилась. Струйка крови смешалась с соленой водой. Над морем застонали чайки, сорвались ленивые бакланы.

Последняя шлюпка причалила к берегу. И тут же мощный взрыв потряс море и сопки. Крейсер «Изумруд», как живой, подпрыгнул, затем потянулся, как умирающий, и раскололся надвое.

– Господи, да есть ли ты? Бога мать! – закричал усатый матрос, упал на песок и впился в него сильными пальцами.

– Довоевались. Наклали в штаны, не знамо пошто, – проговорил в наступившей тишине суровый боцман. – Прости нас, боже, простите, русские люди, не по своей воле убили судно, по воле капитана.

– Убили, какой корабль убили! Проклянут нас потомки! Не смогу я смотреть людям в глаза.

Офицеры и матросы плакали, лишь не плакал капитан.

– Ты откуда будешь, ти покажет нам дорогу? – спросил капитан Федора.

– Куда вам показать дорогу?

– Где есть ближайший село, телеграф, дорога.

– Покажу! – с болью в голосе ответил Сиров и отвернулся.

Молча хоронили самоубийцу, хоронили на морском взлобке, чтобы он сторожил погубленный корабль.

– Позорище! Говоришь, что здесь нет военных судов? – спросил Федора один офицер.

– Нет и не было.

– Значит, то были огни рыбацкой шаланды? От нее мы бежали. Э-эх!..

Команду построили, и повел ее тропой в бухту Ольги простой дружинник. Долго оглядывались матросы и офицеры на свое судно. Лишь капитан ни разу не оглянулся.

– Чего взять с барона, к тому же остзейского! Будто перевелись русские командиры! – зло выкрикнул какой-то матрос. Но немец-капитан даже головы не повернул на крик.

Люди Ольгинского уезда скоро узнали о позорной гибели корабля. Сурово, исподлобья смотрели на матросов и офицеров. Капитан отдал распоряжения своему помощнику и тотчас укатил по тракту во Владивосток.

Мужики растащили дорогое оборудование с корабля, перековали пушки на орала.

А команда продолжала путь. Шли под презрительными взглядами людей русских. Никто не зазывал в избы, никто доброго слова не сказал, не обругал. Хоть бы обложили матюжиной, на какую только способен русский мужик, может быть, полегчало бы на сердце!

Трудно матросам, трудно офицерам, но как сказать людям, что не повинны они, что приказ командира для всех закон. Нет, все же и они виноваты, надо было сбросить за борт труса капитана и взять кому-то команду в свои руки. Надо... Но теперь уже поздно. Переживай позор, прячь глаза от людей.

2

Полоскался июнь над сопками, катился в Лету 1905 год. Над морем навис туман, колыхается на волнах, дремлет. Поручик Владимир Арсеньев подал команду:

– Охотничья команда, равняйся! Смирно! Налево! Шагом арш!

Пошла охотничья команда в сопки, чтобы выгнать с русских берегов браконьеров-японцев. В дружине около ста человек. Одних Силовых с десятком наберется. Дружинники не побегут. Они не поймут позора тех, что бежал с крейсера «Изумруд».

Шли по тропе, что вилась по берегу моря, падала с отвесных скал, поднималась на крутые бока сопки. К вечеру вышли в устье Голубой речки. С сопки было видно озеро Зеркальное, в его хрустальной воде купалось горячее солнце. В лимане Голубой речки на рейде стояла шхуна. На ее палубе сиротливо приютилась пушка. Около пушки с винтовкой ходил часовой.

Японские рыбаки беспечно ловили сетями и неводами симу, которая тугой струей спешила на свои нерестилища. На берегу десятков японцев пластали рыбу, солили, укладывали в бочки. В такие же бочки сливали зернистую икру.

– Всем отдыхать. Федор Силов, Нестер Соломин, вы со мной. Пятышин, ты за командира. Разведаем как и что, – распорядился Арсеньев.

Разведчики вернулись скоро. Арсеньев сказал:

– Сейчас трогать не будем. У них есть винтовки, зачем себя под пули подставлять да и зря людей бить. Будем брать утром, сонных. Остается дозор, а мы отойдем в ложок и передохнем до утра. Лодчонку бы где прихватить, чтобы взять сразу же шхуну, не то откроет пальбу из пушчонки, может кого и убить.

– Сварганим плотик и на плоту доберемся.

– Верно. Так и сделаем. Плавникового леса хватает.

Ночь, звезды то гасли, то снова вспыхивали. Туманы то надвигались, то отползали назад. Ярились на пойме гураны. Где-то провыл одинокий волк. Кто-то долго и истошно кричал на сопке. Заверь давил зверя.

Утро пришло тихое. Редкий туман застыл над морем. Перешептывались волны, тонко звенели комары, стонали чайки, крякали на озерах утки. Браконьеры спали в палатках. Спали и часовые у палаток и на шаланде.

В борт шаланды тихо стукнулся плотик. Пять дружинников вскарабкались на борт. Шаланду охраняли трое. Их тут же разоружили. Дружинник-пушкарь бросился к пушке, чтобы дать сигнал, крутнул ее, протер глаза, начал шарить руками в поисках замка, потом захохотал. Это была деревянная пушка.

– Командир, нападай, сигналу не из чего подать! Пушчонка из дерева! – закричал пушкарь и выстрелил вверх из берданы.

Поздно просигналил: часовые уже были связаны. Двадцать пленников понуро стояли перед наведенными на них стволами. Арсеньев приказал:

– Всех на шаланду, отправим в Ольгу.

– И чего с ними вошкаться, переторскаем – и баста. Они наших убивают, а чего мы будем смотреть, – зашумели охотники.

– Пленных не убивают. И чем больше мы пленим, тем быстрее наши пленники вернуться на родину.

Почти до полудня грузили рыбу, икру, рыбацкое снаряжение. Лодки подожгли. Десять дружинников, среди них были и моряки, повели шаланду в бухту Ольги. А отряд пошел по берегу на север.

Экспедиция продлилась до осени, взяли в плен около ста рыбаков, конфисковали десять шаланд, все они были уведены в Ольгу.

Видели бы русские матросы, бежавшие от огней шаланды и посадившие на мель судно, как встречали жители японских пленников. Японцы шли по тому же тракту. В каждой деревне сердобольные бабы кормили их сытными борщами, укладывали спать на русских печках. Накормят, еще и посмеются: «Ну что, отвоевались, япошки? Посидите, отдохните, домой еще успеете».

А скоро пришел и конец позорной войне, которую какой-то мужик в шутку назвал войной икон с японскими пушками.

Бунтовали матросы во Владивостоке, рабочие на рудниках Бринера. Лилась русская кровь по всей России.

О войне, о бунтах еще долго будут говорить охотники в зимовьях, в деревнях, при встречах на привале: «Свои своих стреляли! До чего дожил люд!»

Грохотали поезда по чугунке, везли в таежный край бунтовщиков, малоземельных. Начали расти деревни как грибы.

Шел 1906 год. Стали и в эти глухие места залетать переселенческие ласточки, Кузьма Кузьмин и Еремей Вальков пришли ранней весной. Выдали им казенный кошт; четыреста рублей серебром, чтобы обзавелись хозяйством, берданы, провиант и семена на посевы. Выбрали мужики чистые поляны, вспахали по десять десятин земли, посеяли, стали строиться. Ладно и дружно строились.

А вот те, кто за ними пришли, Шишкановы и Ковали, хватили горя. Коштовые деньги за зиму проели, а весной нужно было поднимать земли. Вот и пошли в работники к Вальковым и Кузьминым. А те рады работникам.

Мотыгами скovyряли пришлые десятинку-другую землицы, семена же пришли занимать у староверов. А Степан Алексеевич и рад, что к нему пришли на поклон. Не просто пришли, а сбросились и купили загнанную клячу у Кузьмина да телегу на деревянном ходу, зад у которой вихлял, как у калеченой собаки. А кобыла – та и вовсе на живодерню просилась. Сбруя вся веревочная. Хомут – не понять, с какой твари, то ли ярмо бычачье, то ли еще что-то. Но Валерий Шишканов еще и покрикивал на кобылу: «Ну, балуй! Да стой же, тебе говорят!»

– Пшенички, значит, занять? Займу. Отчего же добрым людям не занять, ежели они попали в беду? Займу. Может, продадите мне свою клячонку? Сколь просите?

Валерий вспыхнул, он понял, что этот бородач над ними издевается:

– Сто рубликов. Берешь?

– Хм, беру. В придачу еще дам два мешка пшеницы, хватит ли?

– Хватит, – смутился Валерий. Оттого, что заломил такую цену за падаль.

А мужики хохочут в свои дремучие бороды, видят изгал, кураж своего наставника, но еще не поймут, шутит он или нет.

– Устинка, а ну неси-ка деньги за конягу. Там за божничкой лежит серебро. Неси, что встал столбом! Да винчестер мой прихвати. Откель будете-то?

– Астраханские мы. Может быть, купишь и телегу? – смеется одними глазами Валерий. – Не много спрошу. Десятку – и по рукам.

– А что, и телегу куплю. Такой телеги у нас отродясь не было. Буду по праздникам для потехи баб катать. Беру.

Бережнов обошел телегу, потрянул ее так, что она ходуном заходила.

– А ты веселющий, парнище. Люблю веселых, потому как сам веселый.

Подошел к одру, задрал голову, посмотрел в зубы. Снова хохотнул:

– Конятину-то едите ли?

– Едим, абы не воняла шибко. Должно хватить. У себя еще чуток есть.

– Ну, смотри, не продешевись. Бабы, нагребите им два мешка семенной пшеницы, лучше всего «сухановки».

Устин принес деньги, винчестер. Бережнов отдал деньги Шишканову, вскинул винчестер, выстрелил кобыле под ухо. Дрогнула она и упала...

– А теперь покупай у меня коня. Какой тебе люб, выбирай.

У парней Шишкановых и рты набок, но старший, Валерий, спокоен. Выбрали Игреньку. Молодой жеребчик не стоял на месте.

– Теперь покупай телегу. Вон ту возьми, новая еще и на железном ходу. Хомут Игренькин на десятом колышке. Запрягай и дуй отседова, пока не передумал. Кобылицу тоже увезите с собой. Не то сам съем, – хохотнул Бережнов и, довольный собой, ушел в дом.

Устин помог запрячь Игреньку в телегу, загрузили пшеницу, мужики помогли забросить убитую кобылу и выпроводили гостей за ворота, почесывая затылки, посмеиваясь над чудачеством наставника.

Приехали Шишкановы домой, щеки пылают от радости и от стыда. Поглумился над ними бородач. Ну и пусть его комары заедят.

И другим так же щедро помогал Бережнов. Прошел слух, что в Чугуевке будет волость. Надо иметь побольше сторонников. Не плохо бы стать волостным. Власть в любом случае согдится, ее в кармане не таскать. Свои будут сильнее бояться. А то, что покуражился Бережнов, так пусть знают его достаток и силу. Для него жеребчик или два мешка пшеницы ничто. Он может раздать за весну и десять мешков, и сорок. Слава богу, за урожайный год брал столько хлебом, что всей деревне не съесть: сто десятин пахотной земли чего-то стоили. И разве только земля? Алексей, его старший сын, уже стал отменным охотником. Устин тоже начал приносить добычу из тайги. В прошлую зиму они с побратимами недалеко промышляли – и то каждый добыл соболей и белок на тысячу рублей. В этот год собираются уходить под Арараты. Совет там отвел им пушные угоды. Будут летом сами строить себе зимовье. А потом кони, из которых десятков-другой он может продать переселенцам. Несли чистое золото и пчелы. Поэтому трешка в долг или мешок пшеницы без отдачи – при голосовании лишние шары.

Другие старообрядцы тоже жили примерно в таком же достатке. Но если видел Степан Бережнов, что кто-то кого-то обижает, собирал сход и примерно наказывал лиходея, заставлял выплачивать недостающее.

Тихо и мирно жили на той стороне реки Арсе Заргулу, Календзюга Бельды, Дункай. Над ними тоже, как клушка над цыплятами, стоял Бережнов. Помогал в пахоте, в посеве хлебов, уборке. Те тоже пригодятся при захвате власти. А потом не лишнее, когда кто-то разносит добрую славу о тебе, а государственные люди шлют похвалы за подмогу инородцам.

3

И вот в этой сутолоке житейской росли и крепили побратимы, как молодые дубки. Разность в характерах уравнивала их, Петр Лагутин молчалив, Устин вспыльчив как порох. Журавушка говорлив, ворчлив, но без вспышек. Ровен, как оструганный шест. Их так и называли: Святая Троица. Всегда вместе, будто одной веревочкой связаны. Даже ночевали чаще вместе, то на полатах у Лагутиных, то у Журавлевых. Но чаще у Бережновых. Как только они прoderут глаза, Меланья плескала в них холодной водой и угощала вкусными шанежками.

Этот год станет для них заглавным годом. Хватит жить чужим хлебом, пора и честь знать: пошло по пятнадцатому году. Грамотны, рассудительны. А мужиками в тайге становятся в четырнадцать лет, женихами – в шестнадцать, свое хозяйство заводят в двадцать, если на то будет разрешение отца.

Летом ребята построили зимовье под Араратами. Косили, жали, молотили... Мужики...

Тугим потоком по Щербаковке шла кета. Шла она с моря, с низовой Амура, шла тысячи верст, чтобы отметать икру на своих ложементы и умереть. Умереть, защищая свои икринки от прожорливых ленков и хариусов. Кета шла так густо на перекатах, что не всякий всадник рискнул бы пустить в это время коня вброд, многие ждали, когда схлынет косяк.

Побратимы поставили в протоке заездок: свалили через протоку вербину, вбили в дно колья, оплели из орешника крепкие бердыши, а из ивовых прутьев вместительную мордушу. Кета шла по извечным путям, рвалась в узкую протоку, текла в широкий зев мордуши. Успевая доставать снасть, развязывать устье мордуши и высыпать кету на берег. Лов в эту пору не считался запрещенным, если рыбак не перегораживал всей реки.

Ночью в сопках кричали изюбры. Ревели самые ярые певуны, ревели те, кто в этом году остался без гарема. Уже октябрь на дворе, а они все кричат. На берегу горел неспешный костерок. Таинственно помигивали звезды. Сонно, будто о чем-то сожалея, вздыхала река, утробно урчали перекаты. Холодные волны воздуха наплывали на костер. Дунул ветерок, подхватил дым и искры, сорвал листочки с дремотной талины. Качнулись холодные туманы над лесом, прижались к берегу. Ушли от ветра.

Устин Бережнов поднялся, пошевелил сутунки в костре, посмотрел на темные громады сопки, зябко зевнул, поежился от холодка, сказал:

– Что бы мы стоили без деда Михайлы? Он нам отдал свою душу. Для ча рвется в верха кета, для ча орет изюбряк, пошто суетится человек? А? Все потому, чтобы оставить после себе подобного. Потеха! Земля, мое тело, душа, рай, ад... Для ча? Не было бы нас, вовсе было бы так же: ревели бы изюбры, рвалась бы кета на ложементы, жадничали и хапали бы люди. А вот я не хочу быть таким!

– Хочешь ходить в лаптях, питаться черным хлебом? Это тоже было за сотню лет до тебя, – сказал длинную речь Петр Лагутин.

– Не было бы деда Михайлы, – заговорил Журавушка, – были бы мы до сих пор дети. Отнял он у нас ребячество: сразу земля, звезды, цари-государя, раскол, красивое слово. Сотворил в голове мешанину и ушел. Что было бы, ежели бы он до сих пор жил?

– Просто мы были бы во много раз умнее. Тебе же, дурню, может быть, такое и не впрок, – вспыхнул Устин. – Великий был человек, царство ему небесное, – широко перекрестился. – Не от него ли мы взяли, что все в этом мире смертно, даже звезды, наше солнце. Только звезды живут миллиарды лет, а мы миг. Мы как лучик солнца: блеснул, и нет его. Но и этот миг прожить не умеем. Камень станет песком на косах, вон та сопка размоется водой, ветрами, и будет на ее месте ровное место. И на все мильены, а нам – миг... Хорошо сказал перед смертью деда Михайло, что, мол, природа всему голова, а не бог, – заключил Устин.

– Хватит вам, говоруны, живете только думами деда Михайлы, своих еще не накопили, – заворчал Петр.

– С чего же их копить, ить мы не прожили и десятой доли, сколь прожил наш прапрадед. Хватит того, что его думами живем да еще думами Макара Булавина. У наших-то головы пошли набок. Отцу – власть, другим – деньги. Дед Михайло умер, а на сорокоуст не нашлось денег.

– Зато с каким почетом хоронили Петрована, – перебил Журавушка Устина. – Вся округа собралась, на сорокоуст только завещал пять тыщ золотом, поминки – в десять, разные подарки.

– По деньгам и почет. А деда Михайлу хоронили мы да наши старушонки со старичками. Гордись, кто богат. Вот все нам и завидуют.

– Не мудри, Устин, в столько годков мудрецов не бывает, – буркнул Петр и завернулся в козью доху.

– Бывает, к уму деда Михайлы добавлю свой и стану мудрецом. Буду жить без денег.

– Даже Арсешка не такой дурак: сказывают, у него полон мешок денег, – ввернул Журавушка.

– Наговоры. Чего бы тогда он ходил в кожах? Баба снова брюхата, малышня голопуза. Арсе живет как птаха небесная: что дал бог, то и его. Он ловит рыбу острогами, а мы заездком. Разница есть. Он икру сам ест, а мы в города везем.

Устин сдернул с головы шапку – на плечи упали золотые кудряшки. Разметались, жарко запыхали от огня. Шмыгнул носом, засмотрелся на речку голубыми глазами, чистыми, родниковыми.

– Гордись, что ты богат. А отчего богат-то? Оттого, что первым встречаешь солнце, последним провожаешь его. Дед Михайло говорил, что, мол, кто первым встречает солнце и последним провожает его, тот дольше живет. А пошто так, я не знаю.

– День-то, Петро, дольше выходит, вот и живешь дольше.

– Пусть так. Зато жисть у Ковалей, Хоминых, Шишкановых – коротка. Выходят на поля, когда солнце уже в небе, уходят, когда ему до сопок еще пять сажень. Богатыми не будут. Они не охотники, не рыбаки. Где только родились?

– Люди они степные, таежные мудрости им неведомы. Помнишь того хохла, который начал пилить дерево на дрова, не повалив его? Залез на вершину и давай ножовкой чирикать лесину. Алексей Сонин вместо того, чтобы показать человеку, собрал всю деревню на потеху. А ты слышал, что он будто купил жеребенка, сказывают, что двухсердешный, летит как стриж? Мне Сонин дозволил к нему приходить. Завтра пойдем вместе. Да-а, конька бы себе такого.

– Эй вы, стригуны, не пора ли спать, – пробурчал Петр.

– А Тарабановы купили сноповязку, жатку-самосброску и молотилку новую, – не унился Журавушка.

– Знаем, отчего он прет в богачи: хлопнул в тайге золотарей, вот и почал рваться вперед.

– Гневится бог на Макара Булавина, – сменил разговор Журавушка, – не везет старику. То одного сына торскнули на войне, то Сergyа, тут стара умерла. Утонула Фроська. Говорят, что он умом спятил, стал искать все беды в звездах.

– Не оговаривай Макара Сидорыча! – осадил говоруна Петр.

– Отрекся будто он от бога. А сказал, что ежели есть бог, то нет в нем добра. Бога надо искать не в небе, а в человеке, в доброте человеческой. Есть слух, что Фроська не сама утонула, что ее кто-то утопил, чтобы доконать дядю Макара. Наши могут на такое пойти. Твой отец, Устин, не дружно живут с дядей Макаром-то. Отлучить от братии – это страшно, – говорил Журавушка.

– Да, Макар сказал, что не на бога надо уповать, а на зло людское. Ведь отчего первый сын его погиб? Оттого, что восхотел мой отец послать наших добровольцев. А отчего Сergyа медведь задавил? Оттого, что эти два брандахлыста, Селивонка и Яшка, трусили и бросили его на съедение зверю. От горя умерла старуха. А Фроську наши утопили. Это уж точно. Ты правду сказал, про то мне и баба Катя долдонила. Лишним стал Макар среди наших. Чернокнижник, то да се. Но тронуть его бояться. Будут предавать анафеме. Эк напужали! Уйдет на пасеку и будет жить да познавать течение звезд, от них зависит судьба человека.

– Он пропадет или нет, а уж ты-то точно, Устин, – буркнул Лагутин и повернулся спиной к костру, – потому что под Макарову дуду пляшешь.

– Пусть пропаду, но чести своей не уроню. А Тарабанов убивец, за то молится с радением.

– Обрыдло, побратимы, ну чего перемываєте кости добрым людям, – заворчал Лагутин, поднимаясь. Красавец, прямой нос, голубые глаза, лицо обрамляла пушистая бородка. – Суе-словите, а что толку. Пошли трясти мордушу, набилось поди – не поднять.

– Поднимем, ты троих заменишь, – хлопнул ладонью по спине Петра Устин. Лагутин бросился на него медведем. Высокий, широкоплечий, мог бы смять враз Устина, но тот поднырнул под руку, врезал по заду, снова увернулся. Дал подножку, Петр растянулся на жухлой траве. Вскочил, поймал Устина, началась возня. Устин ужом вывертывался из-под Петра. Наконец оседлал его, приказал:

– Вези до заездка, пешком не пойду.

– У, увертыш. Сиди ужо, довезу.

Довез, на берегу схватил Устина за пояс и хотел бросить в протоку, но тот клещом вцепился в пиджак – не оторвать.

– Клещастый ты какой-то. Ладно, иди с миром.

– Эхе-хе, – по-стариковски выдохнул Журавушка, – и поиграть-то нам некогда. Хохлята до бороды в пыли возьатся, а мы с мальства в работе. Зато у нас лаковые сапожки, гордость у нас.

– Толкнул бы в воду этого дурня, Петр.

– Еще утонет аль сломается, не слышишь, идет и костями шабаркает. Бедняком здесь может быть только лодырь аль неумеха.

– С кем ты споришь, Петьша, голова-то у него растет тыквой. Слушай и замри, Ромка, счас будешь умным. «Стану я, раб божий Романе, и, благословляясь и перекрестясь, пойду по сине море, на синем море горяч камень лежит, на этом камне престол божий, на престоле божьем сидит дева Мария, в белых рученьках держит бела лебеда, обрывает, общипывает бело перо: отскочите от раба божия Романа все глупы мысли, родимы болячки, и изыди дурость из буйной головушки, с черной печени, с белого легкого, с рученок, с ноженек, из ясных очей. Та дурость с ветру пришла и на ветер пойдет. Вставай, раб божий Романе, ты стал мудр, ако царь Соломон, умен и хитер, ако медведь таежный». Ну вставай же, дубина ты стоеросовая, пока не намял тебе бока, Петьша один надрывается, мордушу тащит! Развалился, барин!

Побратимы с трудом довели мордушу до берега, вытрясли гору рыбы, поставили снасть и снова отошли к костру, чтобы руки согреть после холодной воды.

– Без огня человек давно бы окостыжился, – грел руки Устин, небольшие, но сильные.

– Хотите, я вам байку расскажу?

– Про то, как на бабу Катю набросился оборотень? – усмехнулся Петр.

– А ты откуда знаешь? – удивился Журавушка.

– Да у тебя же на морде написано, что буду, мол, рассказывать что-то страшное.

– А хотите про...

– ...то, как дядя Алексей въехал в дом на диком кабане, а уж там его дорезал, – подсказал Устин.

– Да ну вас, не хотите, как хотите. Буду спать, – отвернулся Журавушка.

К костру подошли два рыбака – Семен Коваль и Валерий Шишканов, протянули руки к огню, бросили:

– Бог в помочь!

– Помогай и вам бог трудиться! – ответили побратимы.

– Плохо он нам помогает. Неумехи мы. Били, били острой кету, а всего пяток добыли, – доверчиво признался Коваль.

– Да, плохи наши дела. Пришли сюда к осени, надо бы рыбы добыть побольше, ан не получается, – вздохнул Валерий.

– А на червей не пробовали ловить? – оскалил большие зубы Журавушка.

– Не пробовали, завтра испробуем.

– Цыц ты, шанок! – рыкнул Петр. – Не слушайте его, кета на червя не берется. Это особая рыба. Ее надо крючить, бить острогами аль такой заездок строить.

– Петьша, Ромка, давайте нынешний улов весь им отдадим?

– Э-э, ты чего это чужим добром распоряжаешься? – вскочил на свои длинные ноги Роман.

– Это не наше с тобой добро, а божий дар. Один оставайся здесь, один дуй за конем, да Хомина прихватите, будете возить рыбу, пока наших нет. Ну, Петьша?

– Пусть возят, а ты нишкни, Журавушка! Двое сказали – третий согласись.

И пошло дело. Ведь побратимы просто ленились часто трясти мордушу, хотя у бердышей стеной стояла кета. Теперь ее трясли через десяток минут, не успевали руки отогреть. Гора рыбы росла. Хохотал Устин, улыбался Петр, хмурился Журавушка, будто свое, кровное отдавал. Только тихо вздыхал да поджимал свои тонкие губы. Но против побратимов не пошел. Сдался.

Хомин и Коваль пригнали два рыдвана. Загрузили и повезли в Ивайловку. Хомин даже помогал коню сдернуть воз с места.

Ивайловцы ошалели от счастья. К утру снова вернулись. Еще нагрузили по телеге. Теперь будут хоть рыбой сыты.

– Я скажу отцам, – не выдержал Журавушка.

– Спытай. За предательство два раза в речке обмакнем, а один раз вытащим, и быть тебе утопшим.

К берегу на лодке пристали Арсе, Бельды и Календзюга. Поздоровались и тоже начали греть руки.

– Много рыба лови! Хорошо лови, куда столько девай?

– Вона, бедолагам отдаем. Себе еще наловим, – ответил Устин.

– Хорошо делай, наша тоже буду им давай, рыба есть – помирай не буду.

– Это тебе такое хорошо говорить, Арсе, русские на одной рыбе не проживут. Им к рыбе еще и хлеб нужен.

– Все равно, – не сдавался Арсе, – буду рыба, буду живи.

– Когда позовешь на крестины, Арсе? – спросил, улыбаясь, Устин.

– Скоро позову, совсем скоро, – ответил Арсе и тоже улыбнулся. – Наша поехала.

– Вот видишь, Ромашка, все хотят помочь русским, а ты рыбу пожалел, будто она перестанет идти в нашу мордушу.

– Ладно, не гундось, раз сказали, и будя. Вона уже светает.

Среди ночи со стороны стойбища аборигенов залиvisto забрехали собаки.

– Можно и передохнуть. Садись к костру, Валера, пообсохни. Застудишься. Хватит вам эту рыбу возить целый день... – Устин зашел на сходни, глянул на мордушу, есть ли рыба, и тут же подался назад, чуть со сходней не слетел. – Петьша! Петьша, сюда, все сюда, здесь водяные вместо рыбы.

Парни забежали на сходни. Петр тихо сказал:

– Это утопленники. Несите крючья, будем доставать.

Достали первого утопленника. Устин закричал:

– Батюшки, ить это баба Арсе! Гля, горлянка перерезана!

Вторым был Календзюга, третьим Бельды.

– Когда же это их успели убить? – тихо сказал Журавушка, потрясенный увиденным.

– Не скули, пади на коня и скачи в деревню, зови отцов! – приказал Устин. Он уже пришел в себя.

Скоро в деревне загудело било: Журавушка полошил народ. Застучали копыта по дороге, прискакали наставник, его братья и еще с десяток мужиков. У Степана Бережного брови насуп-

лены, в глазах метался огонь. Он спрыгнул с коня, бросил взгляд на трупы, затем на Шишканова, спросил:

– А этот что здесь?

– Он тоже рыбу ловит, – замялся Устин.

– Заарестовать. Увести в деревню – и в амбар.

– Но...

– Без «но», потом все рассудим. Исак Ксенофонович, веди под ружьем. Понаехали тут разные и начали воду мутить.

Шишканова увели. Он молча повинился.

– погоди, тятя, – тронул за рукав отца Устин. – Шишканов ни при чем. Когда к нам подъезжали Арсе с друзьями, он был здесь. Потом этих в протоку принесло. Мы, сказать по чести, решили отдать улов этой ночи им. Хомин и Коваль уже по второму разу увезли рыбу.

– Это хорошо, что вы так решили. Праведно решили. Вы строили эту снасть, вам ей распорядиться. Устин, стерегите утопленников, мы скачем к инородцам. На коней, мужики! Тут дело нечисто. Живо! Придут ивайловцы, то придержите их. Мы скоро обернемся.

Солнце выползло из-за сопков, в воде что-то блеснуло. Устин вышел на сходни, разделся и прыгнул в ледяную воду. Достал нож, осмотрел его, тихо сказал:

– Это Зоськи Тарабанова нож. Видно, впопыхах оставил в груди Календзюги.

Бережнов с ватагой в деревне встретил одного Арсе. Тот ходил между домами, которые помогли им строить староверы, тряс головой, что-то бормотал себе под нос. Знаком руки остановил всадников, стал рассматривать следы.

– Два люди ходи. Один шибко большой, другой шибко маленький. Его всех убивай. Сразу пятнадцать люди пропади. Все пропади, дети пропади. Собаки кричи, им давай яд. Все помирай, один Арсе живи. Зачем моя живи? – поднял заплаканные глаза на мужиков. – Вот один конь подкова теряй. Его буду ваша подкова. Его делай ваша кузнец.

– Кто же тут был? – спросил Бережнов и спрыгнул с коня.

– Его был Тарабан с сынка. Деньги наши посмотри. Какой дурака. Наша давно деньги нет. Наша деньги Вальков, Кузьма проси, наша все отдавай. Чего его буду лежи дома, пусть буду люди хорошо живи.

– Ищите утопленников по всем косам и берегам. Ежели прижмем Тарабанова, то несдобровать ему. Столько сразу человек убить! Господи, да есть ли у Тарабанова сердце-то? – гремел Бережнов.

Нашли еще труп Дункая, трех детей. Остальные, наверно, отнесла речка ниже.

– Что делать? – спросил мужиков наставник.

– Хоронить, что же больше.

– Знамо хоронить, но ведь надо дать знать властям. Дело-то вязкое, и нас в ту болотину затянет. Может, свалим все на мирских? – в раздумье проговорил наставник.

– А тогда куда же девать Арсе? Ить он точно показал на наших.

Прискакал на коне Устин, подал нож отцу, бросил:

– Нож Зоськи Тарабанова.

– Ладно, нам то уже ведомо. Дуй в обрат. Здесь три думки: убрать Арсе, своим судом судить Тарабановых или звать власти. Ежели дознаются, что это сделали наши, то нам будет туго. На нас и без того наговоров много: старообрядцы, отщепенцы, то да се, а тут еще и убивцы. Ну, что молчите?

– Надо над энтим подумать. Так, с кондачка, не откажешь, – подал голос Исак Лагутин.

– Надо все свалить на хунхузов, – твердо сказал наставник. – Беда ить нам. Оговорят на веки вечные. Тарабановых найти. Наверно, в своем зимовье укрылись. Исак Ксенофонович, бери людей и дуй на их зимовье. Взять под стражу.

Тарабановых дома не было. Они ускакали в тайгу, теперь сидели на нарах своего зимовья, хмурые и бледные. Зоська трясся в нервном ознобе. Только и шептал:

– Тятенька, про ча мы такое исделали? Тятенька...

– Да замолчи ты, щанок! Исделали, чего же после драки кулаками размахивать? Обмишурились. Денег не нашли, нож потеряли, подкова с коня спала. Арсешку не дождались. Ить он все проследит. Таки уж у них глаза. Исчез Арсе. Ушел без винтовки, с одним ножом. Но куда?..

В деревне мертвая тишина. Даже собаки перестали брехать. А какая завоет, на нее тут же цыкнут, она и замолчит. Все ходили на цыпочках. Такого в их истории не было еще записано. Но Макар Сонин записал: «И бог глаголе: не убий. А Карп Тарабанов убил пятнадцать человек вкупе со своим змеенышем-сыном. То всеми доказуемо, но, пребывая в страхе перед властью и молвой народной, наставник восхотел сокрыть то убийство. Пусть то были инородные люди, но не без души же они. Аминь».

В молельне заперлись мужики на совет. Бережнов сказал:

– Убил инородцев Тарабанов, польстился на деньги. Что будем делать? Судить ли своей властью или отдать в руки полиции?

Снова почесали мужики затылки, а Алексей Сонин даже зло бросил:

– Не мог он заодно убить и Арсешку. Тогда был бы другой сказ. А так где искать того Арсешку? Приведет Тарабанова Лагутин, решать будем. А лучше всего отдать в руки полиции.

– И так можно, но ведь эта сволочь одним ударом ножа всех нас зарезал. И то, что помогли, что кого-то в люди выводили, все будет забыто, когда оговорят.

– Тогда тайком судить и предать смерти! Не порочить себя за-ради убийства.

– Это мы могли бы сделать три-четыре года назад, когда над нами не было властей, когда сами были властью, – ответил Бережнов.

– Шишканов, выходи, – бросил Бережнов, открыв двери амбара. – Не убежал. Нет тут вашей вины. Да прочту тебя: об этом поменьше трезвонь средь своих. Наши напали на следы хунхузов, пошли вдогон. С ними ушел Арсе.

– Дайте и мне ружье, я тоже пойду догонять хунхузов.

– Сиди уж, поначалу научись стрелять, а потом проси ружье. Лучше займись заездком. К вам еще будто приехало пять семей. Их тоже не обойди, а то знаю я вас, все к себе тянете. Не обижайся за арест-то, сам знаешь, какое дело.

– Да уж ладно.

– Бери вона Каурку и гони домой. Отпустишь – назад придет.

Бережнов распустил совет, ходил широкими шагами по молельне, думал: «Не сегодня завтра здесь будут волостной старшина, урядник, а тут такое... Предать их смерти, и будя возиться. Надо бы тогда сразу же уторскать Тарабанова, а этот щанок бы и не пикнул. Вырос и туда же. Что делать?..»

День и ночь бежал Арсе в Ольгу. Утром был уже у Баулина. Со всеми подробностями рассказал про жуткое убийство приставу. Тот задумался. Журавль сам просился в руки. Тяжко стало жить Баулину, а ведь в этом виноват и Арсе Заргулу. Он ведь тоже приходил с Тинфуром-Лагиазой в ту ночь.

– А ты зачем же ко мне пришел, ты ведь грабил меня? – спросил Баулин.

– А куда моя надо ходи? Тебе начальник, другой начальник нету.

– То так, я здесь главный начальник. «Надо скорее гнать коней за перевал, не упустить такой куш! Прижать старообрядцев, чтоб не пикнули, черпануть у них золото. Продать им Арсешку, дорого продать. А тех уже не воскресить. Этого надо убрать – и концы в воду». Эй, Куликов, поди сюда! Это Арсе Заргулу, который тебя в ту ночь оглушил, узнаешь ли?

– Обличье навроде знакомо. Что прикажете, ваше благородие?

– Так, ничего. Поедем за перевал, там что-то натворили инородцы, а может быть, староверы, Арсе с собой прихватим. Разобраться надо. Кликни Кустова, Вахромеева, Зазулю.

4

– Ведут! Ведут! – раздались голоса в деревне.

Сельчане высыпали из домов. Вели Таракановых. Исак Лагутин вел их связанными, под винтовками. На него зашипел Бережнов:

– Балда, ты что их ведешь на виду всей деревни, как каторжан? Увидит Макар, настроит на нас донос.

– Пусть смотрит, вона он стоит у калитки, пусть строчит. Скажи мне, спаси Христос, что я их не убил в зимовье, не взял грех на душу. Начали отстреливаться, варнаки.

Шли Тарабанов и сын. Бурый медведь и рыжий мышонок. Мужики и раньше похихивали над Карпом: мол, гора родила мышь. Карп бил свою бабу, подозревая, что Зоська не его сын, бил часто, бил смертным боем. Семь девок народила, одна другой краше, а этот... Не ихней породы. Баба чернявая, сильная. Одна может плуг потянуть вместо кобылицы. Едва девка заневестится, ее тут же сватают. А этот – тьфу, и не смотрели бы глаза!

– Та-ак! От своих отстреливаться вздумали, субчики-голубчики? А ежели бы кого убили, тогда как? – загремел Степан Алексеевич, когда ввели убийц в молельню. Три дня сидели в осаде Тарабановы. Сдались. – Выкладывайте все как на исповеди!

Карп Маркелыч усмехнулся: «На исповеди»... Он никогда на исповеди не говорил правду. Здесь не исповедь, а будет суд. Народ будет судить. Когда он убил золотарей, то на исповеди сказал такое: «Не убивал, но был рядом с убитыми, когда они уже были ограблены». А на самом-то деле стрелял в упор, даже кровь в лицо брызнула. Баба истопила баню, он долго плескался и парился, но никак не мог смыть запах чужой крови...

– Чем травил собак? – спросил наставник.

– Стрихнином.

– Как у тебя поднялась рука на людей?

– Ну, виноват, ну, попутал бес! – упал на колени Тарабанов.

– Тогда не надо показывать тебе нож, подкову и волосы из твоей бороды? Что она у тебя, лезет, что ли?

– Виноват, признаюсь как на духу. Простите, больше не буду. Зоська, на колени перед народом! – дернул за рукав сына отец.

– Во, энто по-нашенски – греши и кайся, кайся и греши, – хохотнул Алексей Сонин.

– Нишкни! – загремел наставник. – По-каковски, я не ведаю, но энто по-зверски, за рубль убивать человека! Ежели бы убивали во имя веры, а то ить за деньгу. Тарабанов восхотел стать богатеем, с чужого кармана выйти в большие люди. Он, дай ему нож в руки, всю нашу деревню вырежет! Всех предаст смерти! Псы смердящие! – Грозный, грузный, твердо ступая короткими ногами по половицам, рычал Бережнов. Косматые бровища еще стали космаче. – Детей дажить волки не трогают. Мы столько земель прошли, и никто не помнит, чтобы кто-то из наших поднял руку на инородца. Везде с ними жили душа в душу. Мы даже с врагами искали мира, ежели они его принимали. Смерть! Позарились на гроши этих людей, которые они отдали ивайловцам.

– Простите!..

– Молчать! – рывкнул Бережнов так, что стены дрогнули. Поежились мужики. Круто берет наставник. Не жить Тарабановым.

– Дитя своего втравил в это же дело. Сколько о том проповедей было читано, не вняли. Хлеб надо есть в поте лица своего, а не с чужой крови. Смерть! На нас без того говорят, что, мол, староверы, молясь, низко кланяются: а не лежит ли что плохо под лавкой. Вот такие варнаки и порочат нас. Мы, мол, люд кормим из собачьих чашек. Да у нас для гостей самая дорогая посудина. Будем выносить решение. Ты, Исак Лагутин?

- Смерть!
- Ты, Семен Кузнецов?
- Судное моление и смерть!
- Ты, Мефодий Мартюшев?
- Смерть!
- Ты, свет наш, баба Катя?
- Смерть!
- Ты, Мефодий Журавлев?
- Смерть!

Мужики и бабы, парни и девушки, которым было по шестнадцать лет, поднимались и бросали это короткое, как выстрел, слово «смерть».

У раскольников еще со времен Выговской пустыни в уставе было записано, что перед людьми и богом все равны, пусть то баба или мужик. Были наставницы женщины. Было и такое, что мужик с детьми водился, а баба зверя промышляла. Так было и у Таракановых. Его жена была хорошей охотницей. Добывала пушнины не меньше, чем мужики. Но в последние годы перестала ходить в тайгу. Пришел достаток. Ее вот не пригласили на совет. Что бы она сказала?.. У мирских бабы под ярмом. Раскольники не зря посмеивались над мирскими: мол, мужик на завалинке табачище жрет, а баба полосу жнет.

Зацокали подковы по камням, всхрапнули кони. Раздались крики мальчишек:

- Казаки приехали! Дядя Степан, казаки приехали, а с ними и Арсе. Тикайте!
- От дерет их, – проворчал Бережнов. – Всем оставаться на местах. Выйду к казакам.

Арсе увидел Степана Бережнова и отвел глаза в сторону. Да, он донес на них. Но ведь и сам Бережнов говорил, что кровная месть – это греховное дело, духи гор против такой мести. Арсе с ним согласился. Но если кровная месть – плохо, то пусть Тарабанову мстит пристав по своим законам. Жалко Арсе Бережнова, хороший он человек, но что делать Арсе?

– Вот приехал к вам, Степан Алексеевич, – сказал пристав, – принимай гостей. А этого заприма в амбар да поставь надежную охрану, мало ли что. Понял меня?

Арсе не успел спрыгнуть с коня, как его тут же скрутили, заломили руки назад и повели в амбар. А амбары у старообрядцев крепки и надежны. Арсе закричал:

– Куда меня води? Я всю правду сказал. Степанка, тебе плохо делай, моя хотел хорошо делай. Баулин – хунхуза, ты буду хунхуза!

– Ладно, иди, иди, потом разберемся, кто хунхуз, а кто нет. Не крутись! – дернул казак Арсе за куртку.

- Зачем собрал людей в молельне?
- Совет перед охотой держим, кому на какие угоды идти.
- Ага. А Тарабанов жив?
- Жив, а что ему делается?

– Ну, Бережнов, хватит в прятки играть. Не за красивую же твою бороду я сюда приехал и привез вам Арсешку. Скажу коротко, что инородцев вырезали хунхузы, вы их догоняли, в перестрелке был убит Арсе. Ваши не пострадали. Было убито десять хунхузов. Все.

– Сколько же за такой сказ? – одними глазами усмехнулся Бережнов.

– Пятнадцать тысяч золотом! – почти выкрикнул Баулин.

– Лады. Получишь, – коротко бросил, как подачку, Бережнов.

– Еще Арсе ограбил меня, взяли с Тинфуром пять тысяч ассигнациями, их тоже надо вернуть мне.

– Эти деньги тоже получишь.

«Эх, продешевил, надо бы запросить больше», – ругнул себя Баулин.

– Казакам по тыще за молчание.

– Не выйдет ли это из деревни?

- Нет. Из раскольника...
- Старообрядца, – поправил Баулин. – Читал поди Высочайший Указ?
- Читал. У старообрядцев нет такой моды – своих выдавать.
- И за Арсешку прикинь еще тысячу.
- Будет и за Арсешку. Пошли, выпей с дороги медовушки. Устин, скажи нашим, что совет распускаю. Тарабанова пошли ко мне. Живо!
- Бережнов ушел с Баулиным в свою любимую боковушку, что была пристроена к амбару.
- Как тут живет Макар Булавин?
- Ничего живет, а что?
- Есть слух, что он бунтует ваших?
- Пока не замечали. Правда, отошел от нас, собирается бросать деревню, но это егошнее дело. Пейте, ваше благородие!
- Вошел Тарабанов, бледный, взлохмаченный, от него дурно пахло.
- Эко тебя, поди домой, пропарься в бане, а к вечеру забежишь ко мне на огонек.
- Этот? – спросил Баулин.
- Он. Спасли вы его от смерти. Ить уже присудили ее. А раз валим все на хунхузов, к тому же вы об этом порасскажете, то пусть живет, а наказывать – мы его накажем ладно. Пейте. Меланья, зови казаков и накорми их ладом.
- Побратимы юркнули в дом Макара Булавина. Устин, насупясь, спросил:
- Ты пошто не идешь защищать Арсе? Ить его заперли в амбар, а Тарабанов в бане парится, дурной дух отмывает.
- Пото и не иду, что сила не на нашей стороне. Наставник и пристав спелись.
- Надо писать в город, что и как было.
- Будем доносчиками, а им я сроду не был. Не был и не буду. А потом наш же донос и придет к Баулину. Меня ваши убьют, вас высекут, а может быть, и смерти предадут. Вам ли не знать законов вашей братии, что за донос – смерть!
- А что нам делать?
- Вам надо спасти Арсе. Как, об этом стоит подумать. Кто приставлен к амбару?
- Стояли наши, счас поставили казака.
- Чем занят наставник? Пьет медовуху с приставом. Казаки тоже пьяны. Хорошо.
- Из отцовской боковушки, кажись, есть ход в амбар и в ледник? – наморщил лоб Устин.
- Есть. Вот через него и проведете Арсе. Куда его девать? Пусть он уходит на ваше зимовье. Да ждет вас. Там его не хватятся. Да и на вас никто не подумает. А я сегодня же, чтобы не пало на меня подозрение, уйду на свою пасеку со всем скарбом и лапотинной.
- Еще трезвым Степан Бережнов увидел, как из ворот макаровского дома выехала телега. Серко натужно тянул воз. Это уезжал из деревни Макар Булавин. Бережнов выскочил на улицу, встал посреди дороги:
- Стой, Макар Сидорыч! Сказ есть.
- Слушаю, – наклонил голову Макар.
- Тебе многое ведомо о нашей братии, ты был ее законоучителем, теперь бросаешь нас и увозишь с собой тайны братии. Внял, для ча я это говорю?
- Давно внял. О чем же сказ?
- А о том, чтобы ты за поскотиной все забыл, о чем знал! – с нажимом проговорил Бережнов. – Ты знаешь нашу братию. Они на совете требовали убить тебя, а тело предать сожжению. Я отстоял.
- И об этом ведаю. Спаси тя Христос. Не бойсь, все останется в душе моей, а пусть все согрешения останутся на душе твоей. Прощай! – Макар хлестнул вожжами Серко и укатил из деревни.

Побратимы действовали. У Лагутиных стояла банка спирта в амбаре. Старообрядцы не пили спирт. Грех великий пить и есть то, что пришло из другого мира. Все мирское – погано. Но раскольники знали, что если в медовуху добавить спирт, то мужики быстро пьянеют, а потом и вовсе разум теряют. Так делали, если надо было spoить гостя.

Устин заметил, из какой бочки брал медовуху отец. Мышонком проскользнул в ледник с крынкой в руках, будто хотел принести холодного молока. Открыл заглушку, вылил спирт в медовуху. Там сильно зашипело, забурило. Налил поспешно молока и вышел к побратимам.

Залегли на сеновале, ждали ночи, тихо переговаривались:

– Наши убьют Арсе, если мы его не ослобоним. Это точно.

– Дурачок, все испортил, привел этого хапаря к нам. Предал нас. Есть предлог и убить.

– А что ему оставалось делать? Так и так бы пришли. Спокойствие братии – это все.

Купили Арсе у пристава. Зря деньги не бросят.

– Надо ему винтовку раздобыть.

– Это запросто, возьмем отцов винчестер.

– А тебе не жалко?

– А он пожалел Арсе? Ить Арсе с Тинфуrom нас спасли. Теперечи его в распыл. Гля, тятя уже едва на ногах стоит, бородищей трясет. Скоро почнет куролесить, тогда мы и выведем Арсе.

– Скорее бы.

– А что мы насчет едомы-то не придумали. Вы лежите, а я пойду сгоношу ему котомку, – поднялся Петр Лагутин.

Ночь. Пьяные голоса из боковушки начали затихать. Устин подошел к двери, прислушался. Слышно было, как храпел отец. Бормотал пьянящий Баулин. На крыльце амбара спал казак, тоже пьяный. Взял у него винтовку. Отдаст ее Арсе заместо отцовского винчестера. Открыл двери боковушки. Она чуть скрипнула. Бережнов и Баулин спали на нарах в обнимку. «Допились», – подумал Устин. Снял щеколду с двери, что вела в амбар, тихо позвал:

– Арсе, ты где?

– Моя здесь, – ответил тот.

– Тише! – зашипел Устин. – Выходи, да не шуми.

– Моя понял. Устинка спасай пришел. – Арсе бесшумно подошел к двери.

Прошли мимо спящих. Наставник что-то проворчал, повозился, но снова захрапел.

– Пошли к сараю. Тебе надо убежать в тайгу. Тебя хотят убить. Уходи в наше зимовье, ты был там, когда мы его строили. Бери винтовку, вот едомы тебе приготовили. Погоди, я выгружу у казака патроны... С первыми снегами мы придем, – продолжал наставлять Устин, когда вернулся от казака и принес полную сумку патронов. – Жди, никуда не уходи... На нас никто и не подумает. Мы спим на печи у бабы Кати, спим и десятый сон досматриваем. Ты сам сумел убежать. Пьяный отец открыл двери в амбар, и ты убежал.

– А баба Катя знает, что вы спите?

– Она все знает, но она даже под пыткой скажет, что мы спали. А придет время, отомстим Тараканову.

– Кровный мечь большой грех буду, – запротестовал Арсе.

– Грех с орех, расшелкнул – и нет его. Грех убить доброго человека, а варнака – не грех.

Побратимы проводили Арсе за поскотину, молча обнялись, будто поклялись в вечной дружбе. Он исчез в ночи.

Утром, дурные с тяжкого похмелья, проснулись казаки и наставник с приставом. Почувяв что-то неладное, Бережнов бросился в амбар. Позвал Арсе раз, второй, но никто ему не ответил.

– Бежал Арсе, проспал твой казак арестанта! – заревел Бережнов, начал трясти Баулина.

Тот тоже вскочил, ошалело посмотрел на Бережнова и бросился в амбар. Выскочил. На карауле спал казак в обнимку с поленом вместо винтовки. Вбежал в боковушку, бросил:

– Ладно, не полоши людей, бежал, так бежал. Он ушел через эту дверь, а не через ту. Взял винтовку и патроны. Черт с ним, потом пристукнем. Объявим его вне закона – и баста. Мол, был заодно с хунхузами, что-то не поделил с ними. У нас всегда найдутся отговорки. Мы власть, а власть – сила. Хотя бы то, почему он остался один жив. То-то. Не полошись, давай опохмелимся. А казака я накажу под завязку. Эко она у тебя крепка.

Бережнов почувал и другое: в медовуху, похоже, был долит спирт. Бросился к бочке, но она была пуста. Оттого и напились, что всю опорожнили. «Как только в нас такая прорва влезла, чать, ведра три было», – подумал Бережнов.

Не знал он, что ту медовуху выцедил Устин и вылил за оградой. Теперь побратимы спали на печи у бабы Кати. Никто не слышал, как они вышли, как вошли. Знала и ждала их только баба Катя. Алексей был пьян, дети спали.

Робкий стук в дверь боковушки заставил обернуться Бережнова. Он вышел. Яшка Селедкин и Селивонка Красильников зашептали:

– Арсешку-то отпустили побратимы. Мы сами видели. У них была винтовка.

– Та-ак! – протянул Бережнов. – Знать, сын пошел супротив отца. Ладно. Вот вам по пятаку и дуйте отседова. Об этом никому ни слова, утоплю, как кутят! Брысь! Ишь, как вредна грамота-то мужику. Нет, будя, пусть знают аз, буки, веди и цифирь. Хватит, чтобы деньги считать, псалтырь прочитать. А землю пахать можно и без грамоты, была бы хватка.

Пришел Тарабанов, низко поклонился, степенно сказал:

– Здорово ли живете? Хлеб вам и соль.

– Едим, да свой, а ты рядом постой, брандахлыст. У! – замахнулся Бережнов. – Всю сопатку расквашу. Сосчитал ли деньги-то? Нет. Так иди и считай. Значится, пятнадцать тыщ золотом, поверх того четыре тыщи казакам, за Арсешку тыщу. Дуй и больше глаз не кажи.

– Дэк ить энто же грабеж! Где же меня на столько хватит?

– Пошуруй по сусекам. Вон! Не хватит, тогда займем. Я займу. Сколько? Пять тыщ? Дам. Остальные на кон, и чтобы я больше тебя не видел. Дуй в тайгу и там отмаливай свои грехи. Нет, погоди, есть еще дело.

– Почему же с одного доишь, ить вся братия должна платить, – усмехнулся Баулин.

– Братия не убивала инородцев – кто убил, тот и платит. Пей! Да разберись с казаком-то, как это у него оружие украли?

Баулин погостил недельку и укатил в свои палестины. Снова собрался совет. Тарабанов думал, что все уже обошлось. Но по-другому рассудил Бережнов.

– Отцу сто розог, сыну полста хватит, чтобыть другим было страховито. Кто будет сечь?

– Не сечь бы их надо, а выполнить решение совета, – хмуро произнес Лагутин.

– Пока будем сечь, будет время – выполним.

– Что ж, я отмочу десяток, пусть другие то же сделают.

Вжикали березовые розги, благим матом ревели убийцы. Зоська даже памороки потерял. Но дело довели до конца. Секли пятнадцать человек. Злитесь на всех. Не один был экзекутором.

Зоська Тарабанов подкараулил кабанов на кукурузнике. Выстрелом ранил секача, табун бросился в сопки, а секач на охотника. Зоська метнулся к дубу, ухватился за нижний сук, а силенки подтянуться выше не хватило. Секач прыгал у дуба, все норовил достать клыками ноги охотника. Зоська поджимал ноги и орал, как будто его резали. На крик прибежали побратимы. Добыли секача. Еле стащили с дуба Зоську: руки судорогой свело...

– И зачем спасали мы этого рыжика, – сокрушался Устин.

– Наши хороши, продали честь и души, – гудел Петр. – Надо же, пятнадцать аль двадцать тыщ, ить это великие деньги, почитай, тыща за душу. Вот жисть пришла, что-то дальше будет, – ворчал Журавушка.

– Дальше мой отец аль кто другой станет волостным, и тогда еще хуже будет. Затрещат чубы у нас и мирских...

– Хрен с ними! Завтра почнем пельмени лепить, уже морозно, и будем уходить в сопки. Пропади они все пропадом! – ругнулся Устин. – А отец что-то почуюл, все в глаза заглядывает, будто что там прочитывать хочет. Шиша он что прочтет!

– Как там наш Макар Сидорыч?

– Ушел поди поднимать ловушки. Пора. Забежим к нему тайком опосля.

– Мне сдается, что нас видели Яшка и Селивонка, – подал голос Журавушка. – Стороятся нас, знать, в чем-то виноваты. Их предательство я нюхом чую.

– Ну и пусть. Их слова к делу не пришьешь. Пытал отец бабу Катю, так она его веником прогнала, мол, уходи, отщепенец и хриstopродавец. На том и кончилось пока.

Побратимы договорились уходить на охоту: дошивали унты, козы дошки, ремонтировали капканы, проверяли вьючные седла. Подковали коней. Отец Журавушки постарался – хорошие подковы подобрал, не отпадут.

– А ить отец может пустить за нами Селивона и Якова. Шибко уж добрым он стал со мной. А доброта мне его ведома. Если прознает, что Арсе у нас, то прихлопнут его, а нас примерно высекут.

– Может и такое быть, будем настороже, – ответил Петр.

– Да я их убью, ежели замечу у нашего зимовья! Ить их зимовье за другим перевалом? – закипел Журавушка.

– Могут заблудиться, то да се, и как ты их убьешь?

– Ладно, не гадайте, поживем – увидим.

Кони похрапывали, зная о дальней и трудной дороге. Охотники уходили в тайгу.

5

Небо... Таинство таинств. Извечная мечта человека – небо. Хотел бы туда подняться человек и раскрыть тайну бытия. Дед Михайло говорил: «Вся тайна в небе. Познает человек небо, то познает и себя. Тайну ада и рая раскроет. В писании небо – твердь. Нет, небу несть конца и края. То ни умом принять, ни душой обнять. Каждая звездочка – солнце. А у того солнца бегут такие же земли, может, какая-то из них и есть рай, о коем мечтают люди. И тот, кто поднимет в небо железные птицы, облетит всю Вселенную, тот познает тайну рая, свой рай на Земле устроит. Не вечные люди, не вечная Земля, придет час, когда человек покинет ее с душевной болью и стоном, уйдет к другим солнцам. О том много говорено на наших философских диспутах, о том писали великие пророки. В том есть зерна правды...»

Не потому ли так пристально смотрит в небо Устин, на редкие облачки, из которых вырвался снежок. На даль голубую, залитую солнцем, уже холодным и низким. Может, и прав дед Михайло, что вся тайна в небе. Может быть, когда познает человек небо, то в мире будет жить добро, а зло будет похерено.

Паслись усталые кони, побратимы пили медовый чай, заваренный трехлистником.

Как можно убить человека? Отобрать у него небо? Ведь Тарабанов тоже человек, понимать должен, что не один он хочет жить, а хотят того все люди. Дед Михайло прожил сто шестьдесят три года, а все равно ему умирать не хотелось. В глазах стояла тоска, с губ срывался невольный стон, не от боли, а оттого, что жизнь уходит. Да, жизнь!..

Хотелось сорвать с сучка винчестер и выпалить всю обойму в небо, чтобы стало легче на душе. Сказало бы что-нибудь небо, раскрыло бы свои тайны? Но нет, молчало небо, набирал силу шальной ветерок.

Завыть бы волком, зарычать бы тигром, что-то изменить в этой безвыходности. Отец правит братией, и она ему послушна пока. Но он правит разумом, а не душой. Хотя то и другое нужно, когда ты правишь кем-то.

– Не мечись, Устин, – уронил Петр. – Все ить вижу. Волк и перед смертью останется волком. Недолго жить Тарабанову, но он еще кого-то укусит, если раньше его оскал не оборвет чья-то пуля.

– Значит, снова убийство?

– «Караю зло – творю добро». Это слова деда Михайлы. Отец хотел покарать зло, но не вышло. Видит бог, что он сломает себе душу, когда дорвется хотя бы к волостной власти. А он туда рвется изо всех сил. Щедр как бог, зол как дьявол. Для мирских один, для своих другой. Мирским он не может приказать, а нам запросто. Он – наша голова, – на одном дыхании высказался Петр.

Устал ветер. Опят горы средь бела дня. Так сладко опят, что хочется упасть на листовую влобок, раскинуть руки и тоже заснуть, так же чисто, мирно и глубоко. Тихо. Не загремит меднистой листвой дубок, не качнет нечесаной кроной кедр, не взметнется борода на старой ели. Молчат оголенные осинки. Молчит небо. Не шлет уже тепла солнце, лишь чуть пригревает. Спит тайга. Не спят лишь ключики, звенят, куда-то зовут, зовут... Устин припал жаркими губами к воде, начал пить.

– Не пей нападкой, пить так – грех великий, убьет черт лопаткой, – бросил Журавушка.

– Эко, самая вкусная вода, когда ее пьешь нападкой. Так бы весь родничок и выпил. Губами коснуться воды – грех? Убить человека – грех.

Тропа снова петляла среди сопки, вела в таежную даль, к голубым горам, к такому же небу.

Устин, когда был маленьким и когда его не отпускали в тайгу, все думал, что стоит ему подняться на сопку, на другую – и он сможет потрогать небо руками. Ведь его отец говорил, что, мол, небо – твердь. А дед Михайло сказывал, что небо – эфир, что его нельзя потрогать руками, что небу нет края и конца. Потом многому научился, много нашел ошибок в Святом Писании. Прав дед Михайло. Сколько они уже с побратимами перевалили сопку, а конца земли все не было. Правда, с высокой горы можно было видеть провал, будто там кончалась земля, на высокой горе и тучки были ближе, которые можно было даже потрогать руками.

Много позже, когда побратимы выйдут на перевал и с него увидят, что небо провалилось куда-то, побегут, закричат: «Мы нашли конец земли!» Но спустятся с перевала и выйдут к морю. Просто они примут море за небо. Найдут большую соленую воду. Посмотрят на горизонт: там небо тоже сходится с морем, как и эти сопки терялись в небе.

Впереди шел Петр Лагутин, ведя на поводу Серко. Вслед пристроился на длиннющих ногах Журавушка, за спиной которого цокал копытами по камням, высекая искры, Гнедко. Замыкал шествие Устин с неутомимым Игренькой. Он прикрывал сзади побратимов. Звери чаще нападают на последнего, а уж Устин сможет отбиться. Он стрелял почти так же, как и Макар Булавин. От его глаз ничто не скроется. Вот белка шмыгнула через тропу. Хотя Устин шел последним, он ее заметил первым. На пихте кто-то сделал затеску, свой знак. Рябчик затаился в развилке ольхи, думает, что его не видит Устин, косит темный глаз с красным ободком. Вот на песке человек оставил след, был обут в остроносые улы. Мал быть Арсе, судя по маленькой ноге. Походка легкая у этого человека. Встревожило Устина старое кострище. Кострище как кострище. Но если посмотреть внимательно, то каждому станет ясно, что спал у этого костра не таежник, а какой-то бродяга. Разве таежник станет спать у костра, не подстелив под

бок лапника, или жечь в костре еловые сушины? От них нет тепла, а искр куча. Замерзнешь и одежду спалишь. Рядом же стояли сухие ильмы, ясени. Самые дрова для таежных костров. Может быть, здесь прошли хунхузы или беглые каторжники? Те и другие опасны для Арсе и охотников.

Пружинят ноги на мхах, на хвойной подстилке, будят сонную тайгу. Позади два дня пути. Кони зашагали бодрее, скоро зимовье. Они первыми уловили запах дыма, они знают, где дым, там и отдых.

А зимовье у побратимов добротное. Для себя рубили, самим придется коротать долгие зимние ночи. Рядом баньку сгношили. Как же без баньки-то? С устатку напаришься, и снова хоть в сопки. Да и место выбрали веселое, чуть на взлобке – ключ, он не перемерзал и зимой. Устин приспособил желоб, и вода самотеком шла в баню, заливали вмиг трехведерный котел. Ловко и удобно сполоснуть посуду, набрать для чая воды. И печь железную они обложили камнями, нагреваются камни – долго тепло отдают. А так что – пыхнули дрова, и снова холодно.

Пахнуло дым-ком и на охотников. Ружья легли на локти. Мало ли кто пришел в зимовье. Тайга часто карает ротозеев. Вперед вышел Устин. Как рысенок, начал осторожно подходить к зимовью. Винчестер на взводе. Глаза прощупывают каждый клочок у зимовья. Кто там?

Еще одна хитрость есть у этого зимовья: под нарами небольшая дверка, куда можно при случае выползти и встретить незваного гостя пулями. Так сделал и тот, кто топил печь. Устин увидел торчащий ствол из-за угла, прокричал:

– Какой буду люди?

– О, Устинка, его буду Арсе! Моя Арсе! – выскочил из-за угла Арсе и бросился к Устинке. Устин поймал его в охапку и стиснул.

– Не надо ломай кости, Арсе хочу живи. Тебе буду как большой мафа.

– А ты медвежонок. Побратимы, идите сюда! Арсе дома!

– О, Петика, тебе не надо меня дави, сразу пропади, – с напускным притворством бросился от Петра Арсе. – Тебе буду ламаза.

– Ладно, хошь подай свою ручонку-то, – улыбнулся Петр.

– Журавка, ноги расставляй, моя буду туда ходи, как большой ворота.

– Жив, значица. Ну мы рады. А то душой изболелись, как и что тут у тебя. Никто не приходил? Нет! Ну ин ладно. Новую доху сшил. Молодец. Может статься, далеко придется уходить. Сымайте вьюки, я займусь баней, – приказал Устин, которого давно уже признали за старшего, хотя бы потому, что он все же родился первым. Да и смышленнее был других.

В зимовье было чисто и уютно. Арсе убил двух медведей, разбросал шкуры на полу, на нарах лежали изюбринные шкуры. Арсе все сделал, чтобы хорошо встретить хозяев. На стене была прибита тигровая шкура, так головам теплее.

– Когда добыл? – спросили побратимы.

– Три солнца назад ходи. Его шибко хочу кушай, сюда ходи, пугай Арсе, потом моя тропа ходи, снова пугай Арсе. Раз моя говори, два говори, его не понимай. Тогда моя скажи, ты плохой люди, и посылай башка пуля. Зачем плохой люди земля ходи? Плохой ламаза.

– Правильно, Арсе, плохим людям не место на земле. Тарабана бы так же.

– Ладно, Устин, молчи, придет срок – накажем. Иди топи баньку-то, сам заикнулся.

Охотники прибрали продукты, боевые припасы, самоловы. Устин вытопил баню. Сказал Арсе:

– А ну, Арсе, иди сюда, вот я ножницы прихватил, сейчас твою косу чик-чирик, и все вши в печь пойдут. Есть вошка-то?

– Мало-мало есть. Но моя боись, как меня узнай другие?

– Узнаем мы, и ладно. Садись на стул. А потом я тебя выпарю в бане, твою одежду придется выбросить, мы свежей привезли. Вошку мы не любим. Дошку тоже в баньке пропарим и заживем в чистоте и без вошаты.

– Моя духи таскай другой район, и Арсе пропади.

– Не пропади. С духами я сам поговорю. Они меня боятся.

Устин постриг Арсе по-старообрядчески, как отрока, оставил на лбу маленький чубик, а то все наголо. Поднял косу и показал побратимам: на каждой волосинке висел бисер гнид.

– Пошли в баню. Я тя так выпарю, что все вши передохнут.

Арсе орал, визжал, кричал, что он теперь «пропади», но когда его выпарили, смыли многолетнюю грязь, лег на нары и сказал:

– Арсе еще раз родись. Какой хороший стал Арсе. Совсем хороший, Устинка. Все, моя всегда буду банька ходи. Хорошо!

– То так, Арсе, держи тело в чистоте, а душу в доброте, – подмигнул Устин.

Позже Арсе так привык париться, что только и было слышно: давай, мол, больше пара, сопсем мало пара. Даже Устин не выдерживал и сползал с полка на пол. Веники они еще с лета приготовили, когда строили зимовье.

После бани выпили по кружке медовухи. Пора уже – мужики. Потек неспешный разговор.

– Дед Михайло не раз говорил, что кто соврет раз, то это сделает и вдругорядь. От вранья до предательства – шаг. Мажара клянут, что предал наших. А разве то предательство, ежели он отринул веру, потому как в той вере не увидел святости. Не отринул святое писание, сказал, что, мол, это не святое писание, а история народов. Но ту историю возвели в святое дело и без понятия морочат ею головы людям. Был ли Иисус Христос? Макара сказал, что мог такой быть человек, коий звал народ к добру, а не к тупому повинению. Не верит он в божественное начало, а верит в добродетель людскую. Ежели, сказал, найду ту добродетель в черте, то ему буду верить, – произнес Петр Лагутин.

– Но и он тожить не прав – верил, верил, людей той вере учил и вдруг в расхрист, – пережевывая изюбрину, бросил Журавушка.

– А почему бы и нет, – закипятился Устин. – Вот я верю в тебя, а вдруг окажешься брандахлыстом? Тогда как же, так и продолжать верить тебе? Дудки. Дед Михайло тоже пришел к отрицанию и давно, только у него не хватило сил все отринуть. То он отрицал бога, заместо бога вставлял душу, то снова припадал к стопам божьим. Ладно, давайте спать, а завтра разбежимся по сопкам, поднимем ловушки, капканы разбросаем и почнем охоту на соболей.

– Пойдем на Арараты, там ходи большой соболев. Его надо ловить. У него нет одного когтя, – старательно выговаривал Арсе.

– Батюшки, уж не Карла ли сюда пожаловал. Его дед Сонин уже пятый год ловит и все не словит. Вот бы поймать!

– Упадет снежок, спытаем.

Не спалось, рассказ о соболе, у которого нет одного когтя на правой лапке, растревожил парней. Вот бы поймать его, утереть нос великому соболевицу. Сонин рассказывал, что ловил этого соболя с собаками, но он уходил в россыпи, там отсиживался неделями; ловил и загоном, ставил даже один раз обмет, но он успел порвать сеть и ушел. Раньше он жил по Уссуре, а теперь перебрался на Медведку, под Арараты.

Гудела печь, потрескивали кедровые поленья, за стенами с кем-то шепталась ночь.

6

Охотники проснулись до восхода солнца. Спешно позавтракали, занялись по хозяйству. А с обеда пошел снег. Тихий, шопотливый. Первый снег. Тревожный снег. С опаской смотрели звери и зверьки на чисто-белую страницу тайги. Кто-то нырнул в дупло и задремал под тихий шепот снега, другие залегли в глухих распадках, чутко сторожат тишину. Все затаились, затревожились. Снег шел всю ночь, оборвался к утру. Страшно сделать первый шаг по этой белизне. Необычно видеть позади себя свои же следы, вязь ногами написанных слов. Вон изюбр стоит

под пихтой и боится сделать первый шаг, тянется к кусту колючего элеутерококка, или чертова дерева. Поднялись кабаны с лежки, тоже не спешат сделать первый шаг, настороженно смотрят на снег, чутко водят ушами, сопят. Но вот взбрыкнул поросенок и бросился в сопку. Сделал роспись на снегу. За ним другие, и началась поросычья игра. Пошли на кормовые места кабаны. Шаг сделан. Соболь высунул мордашку из дупла, его тоже оторопь берет: снег! Но осмелел, пробежал по кедру, прыгнул на снег, будто в холодную воду окунулся, и пошел писать да расписывать. Здесь он погрыз шишку, бросил, потому что рядом пробежала белка, погнался за ней, догнал на вершине ели и придушил. Бодрый, сытый, помчался в солку, завихрилась снежная пыль под лапками. Бежит, будто по тканому ковру, не слышно его хищного поскока.

Настороженно посматривают и охотники на снег. Он навис на кустах, лианах лимонника и винограда, сунься в эту снежную купель – и окунешься как в воду. Надо ждать ветерка. Он всегда приходит за снегом. Здесь уж так повелось.

– Сегодня нам надо промыслить мясного. Того изюбришка хватит на неделю-другую. Поросят надо добыть, чтобы уже не отрываться от соболей. Сегодня зверь ошарашен, легко наколотим сколь надо, – предложил Устин.

– И соболя сегодня легче словить, тоже не пуган еще, – вставил свое Петр.

– Однако пойдем за мясным. Как почнем гонять соболишек, то звери быстро от нас отойдут. Пойдем промыслим поросят. Вкусней мяса не сыскать, – облизнулся Журавушка.

Робко дунул ветерок, мало сил – затаился. Еще порыв, но уже сильнее. Еще нажим на тайгу, и завихрилась над солками снежная пыль, начала осыпаться с кустов и деревьев, заблестела на солнце сталью-нержавейкой.

– Мы пойдем с Арсе на левый хребет, а вы на правый. Много не бейте, по паре поросят на брата, и будя, – проговорил Устин, поднимаясь со скамейки. Взял в руки винчестер, первым вышел из зимовья.

Сразу же от зимовья полез в сопку, чтобы выйти на лезвие хребта и с него уже высматривать кабанов.

А вот и следы кабанов. Чушка вела свой табушок в кедровую котловину. Был хороший урожай кедровых орехов. Там они и будут пастись.

Не ошибся Устин. Кабаны паслись под кедрами, громко чавкая, шелушили шишки. Устин показал рукой Арсе, чтобы он обошел кабанов слева: после выстрелов они должны броситься вниз по ветру.

Прогремел выстрел, второй, третий. Это Устин начал поливать из своей винтовки поросят. Кувыркались один, другой; волоча ногу, бросился на Арсе третий. Арсе добил его, успел еще снять из казачьего карабина парочку. Табун ушел за перевал.

– Ну вот и будя. Тут станем потрошить аль к себе сволокем?

– Его буду небольшой – зимовье надо ходи.

И вторая пара охотников добыла двух поросят и молодую чушку.

Пока освеживали добычу, прибрали мясо, день кончился. Теперь можно без оглядки гонять соболей, промышлять колонков.

Утром Арсе повел побратимов на следы королевского соболя. Нашли его у россыпей. След большой, как у дикого кота.

Началась долгая и утомительная погоня за хитрым соболем. Соболь легко уходил от охотников, он забирался в широкую россыпь, а пока обрезали следы, выскакивал на другую ее сторону и уходил на еще более просторную россыпь. День, второй, третий – и все безуспешно. Хотя дважды видели его вороненую шубку с серебром на спине, но стрелять не стали: можно повредить этакую красотищу. Гнались, гнались и гнались. Четыре ночи у ногди, четыре холодных ночи, когда спина жарилась, а живот мерз. Устин сокрушался, ворочаясь у костра:

– Спереди петровка, сзади рождество. Вот черт окаянный, за это время мы уже бы двух-трех добыли да в капканы бы один-другой влетел.

– Да, в россыпях он может год жить на пищухах, и хоть бы что, их в россыпях тьма, – ворчал Петр.

Ночи ветреные, ночи морозные. Вышли продукты на пятый день бестолковой гоньбы. Устин послал за едой Журавушку.

Но и соболь стал уставать. Арсе, когда была луна, предложил гонять его и ночью, чем мерзнуть у ноды.

– Его плохо буду кушай, потом ум потеряет, и мы его поймаем...

Гоняли ночами, не давали кормиться соболем. Соболю голодовало, мерз в россыпях. На пятую ночь он ушел в буреломник, поймал там рябчика, поел и уснул в дупле. Утром подкараулил на тропе кабаргу, прыгнул на нее, но промахнулся, сказывалась усталость.

С утра загремели выстрелы – соболю заметался. Бросился к россыпи, но слышал шаги впереди, сзади. Сбоку тоже стреляли. Побежал по валежинам, поскакал по снегу. На пути сопочка, а за ней россыпь. Но она была маленькой. Ее охотники тут же обметали. Соболю выскочил из россыпи и тут же влетел в обмет. Зазвенели колокольчики. Устин бросился на зверька, но запнулся за камень и не успел накрыть чертенка. Тот порвал обмет и метнулся в распадок. За ним побежал Арсе, палил вслед, орал. Соболю юркнул под корень старой ели. Подбежали охотники, поставили рукавчик, сплетенный из сети, пустили дым под корень. Беглец вылетел пулей и тут же был накрыт. Заверещал, начал кусаться, рваться, но сильные руки сдавили грудь, задохнулся...

– Наша взяла. Ура! – завопил Устин.

Шумно выдохнули, сняли шапки с распаренных голов и тихо засмеялись. Вот оно охотничье счастье! Не то счастье, когда соболю попадет в ловушку или капкан, а то, когда его взяли силой. Не сдались, не заныли – мол, хватит с ним возиться.

Развели костер. По времени должен притопать Журавушка с продуктами. И он прибежал. Не пришел, а прибежал. Отдышался, тревожно заговорил:

– В зимовье кто-то был. Два человека. Жили три дня. Русские. И не охотники. Они открыли лабаз с мясом и не закрыли. Мясо повытаскала россомаха. Напакостили в зимовье, будто свиньи жили, а не люди.

– Все ясно, не зря мое сердце тревожилось, это приходили наушники моего отца. Побежали в зимовье, я их догоню и перещелкаю, как белок.

– Не догонишь, они пришли к нам в тот же день, как мы ушли. След застарел. Я тоже было бросился по их следам, но одумался. Ушли в Каменку, по нашей тропке.

– Не торопись, Устин, давай поедим, а то на тощий желудок плохо думается, – остановил Устина Петр.

– Вы скажи, чего ваша боись? – заволновался Арсе.

– Нам-то чего бояться, за тебя боимся. Приходили двое, чтобы проведать, есть ли с нами Арсе, потом они приведут отцовскую банду и убьют Арсе, – выпалил Устин.

– И вам буду плохо. Однако моя надо другой район ходи.

– Никуда ты не пойдешь, будешь с нами. Пошли в зимовье, там все обрешим.

Охотники спешили, но что бы они ни придумали, Арсе надо уходить. Вот и зимовье. Из трубы курился дымок: кто-то топил печь, охотники взяли зимовье в кольцо.

7

Федор Силов подошел к «кислой воде», как здесь называли охотники минеральные источники. Над лужками нависли клыкастые скалы.

Летом этого года здесь прошел отряд Арсеньева, который вел Дерсу Узала. Под этими же скалами ночевал и Федор Силов. Здесь суровый капитан отхлестал по щекам пермского мужика Илью Мякинина за то, что он украл у Дерсу пять берданочных патронов.

...Геолог Масленников взял отрока Федьку Силова в свою партию и начал учить горному делу. Давал книжки по геологии, учил отличать одну породу от другой. Учил, что угли надо искать в осадочных породах, минералы – в изверженных. Многому учил. Федька все это впитывал в себя. Ходил в походы, приносил Масленникову котомку пород, чаще то были простые граниты, пустые породы. Ошибался. Ведь он выбирал самые красивые, как кальциты, разные известковые натёки из пещер. Но скоро начал находить настоящие руды. Из Широкой пади он принес неизвестную ему руду, марганцевую. Так были обнаружены большие запасы марганца. Затем Солов открыл месторождение железной руды у Мраморного мыса. Такое же месторождение – в Широкой пади. Там же нашел серебряноцинковую руду. А на Маргаритовке нашел оловянную руду.

Геологи другими глазами стали смотреть на парнишку. Прочили ему большое будущее. Даже хотели собрать в складчину деньги и отправить в город на учебу. Но отец воспротивился. Мальчонка приносит за год пятьсот рублей, чего же еще. Все семье подмога. Сам Андрей Андреевич был плохим охотником, отсюда и нужда. Ведь хорошо жили только охотники.

Еще с детства учился Федька кузнечному делу у деда Астафурова. Это был знаменитый кузнец, мог из железа сковать кружева. Так, для забавы, а в деле для мужиков был кладом: брал хмало, не хапал за свою работу, жил в бедности, лишь бы на кусок хлеба хватило. А воду не покупать. Бывало, ворчал на Федьку: «Ты без душевности к железу подходишь. Так и останешься валуном подорожным. Ковать железо нужна тонкая душа, звонкая. Без доброты к железу ты не человек, не познаешь всех таинств железа».

А вот руды Федька душой чувствовал. Повел геолога Масленникова по Верхнему ключу, где на горе была «галмейная шапка» – руда с высоким содержанием серебра, свинца, цинка и меди. Масленников сделал разведку и установил, что «галмейная шапка» недолговечна, но этой ценной руды хватит на много лет.

Поставили столб, и Масленников, обняв Федора Силова, сказал:

– Буду просить купца Шевелева, чтобы примерно наградил тебя. Ты показал то, что не скоро бы и тысяча геологов нашли в этой долине Кабанов.

Но купец Шевелев уже болел. Всеми делами его заправлял Бринер. Сын же, наследник купца Шевелева, не вмешивался в дела фирмы. Он раскатывал на яхте по морю, пил, блудил, пока не утонул. Так все богатства Шевелева достались Бринеру.

Сделали анализ руды. Бринер, прихватив результаты анализов, уехал в Германию. Дал Солову два пуда муки, кусок мануфактуры, сто рублей серебром. Миллионер Гирш заинтересовался месторождением, сам приехал, чтобы посмотреть на этот рудник. На его капиталы и на капиталы купца Шевелева было создано акционерное общество «Бринер и К^о».

Федор Солов несколько лет работал на компанию о Масленниковым, разведывал руды. Потом общество организовало вывоз руды на конях по тропе в бухту Рудную. Но тропа была разбитой, коней заедал гнус, и они все пали. Бринер не сдавался, он купил ишаков, на них возил руду, которая давала с тонны по два килограмма чистейшего серебра, а также много свинца и цинка. Но и ишаки пали. В 1904 году начали строить тележный тракт, где Федор работал уже десятником. Бринер не отпускал Федора, все обещал его озолотить. После войны в бунт 1905 года Солов тоже был на стороне бунтарей. Он пришел к хозяину и потребовал выплатить рабочим по-божески.

– А потом вы давно обещали меня озолотить, пора бы уже и честь знать.

– А я тебя сейчас озолочу. Эй, казаки, а ну всыпьте этому бунтарю полста плетей, пусть знает цену золота.

Всыпали. Федор поднялся и сказал:

– Хорошо, господин Бринер, такое озолочение я вам не прощу. Вы еще не раз мне в ноги поклонитесь.

Гордый, ушел, чтобы больше никогда не помогать бринерам и другим проходимцам... Зато повстречался с давним знакомым капитаном Арсеньевым. Тот сказал Федору:

– Твое имя в каждом руднике, в каждой сопочке. Все обошел поди за эти годы?

– Не все, но много. Эх, для ча я все брожу в тайге?! Кому это надо? Нет, брошу все и буду снова пахарем!

– Напрасно. Ты нашел свою тропу и иди по ней, не стой.

– Чтой-то тяжело на душе. К мечтательству повело. Гля, горы-то здесь голубящие, реки синющие, ажно хрусталем звенят, тишь и песнопение. Убрать бы этот гнус, то не жисть бы была здесь, а рай. Пройдет ветерок – а тайга в ответ загудит, залопочет, будто с ветром о чем-то заговорит. Сядешь у речки, сполоснешь лицо холодной водой и задумаешься: о себе подумаешь, о людях хороших, злых проклянешь. От хороших – радость, от злых – боль душевная. Пошто, мол, они такими родились. Покойный деда Астафуров говаривал, что, мол, без мечты и живинки в деле нет человека, нет жизни. Так, тяготила. Без них человек не человек, а сухостой на сопке – ни тени от него, ни шума радостного. Гниет без толку, а там кому еще и на голову свалится, покалечит. Таких людей, мол, надо обходить, лепиться к дубкам по силе и росту. Те, мол, люди – соль земли. А как распознать ту соль-то? Порой с виду человек, а копни глубже, то одни гнилушки.

Арсеньев, что-то записывая в блокнот, заметил:

– А ты поэт ко всему.

– А что, может, и поет. Идешь, бывалочи, по тайге, качаешься под котомкой, как вьючный конь, и думаешь: а как будут жить люди через сто, двести лет, как лучше сделать, чтобы они стали жить чище? Так в думах-то и сроднишься с тропой. Гля, она и оборвалась. Выбежала на большую дорогу и оторопела, будто чего-то испужалась. И жаль ее, и сам не успел домечтать, додумать. Оглянешься назад, поклонись той тропе и дальше почапал. У всех, Владимир Клавдиевич, обрываются тропы, потому каждый из нас должен сделать все, чтобы стала чище эта земля. Пришла сюда серебряная чума – все просят меня найти серебро, больше серебра. А его не столь уж много в этой земле. А потом сам посуди, какой же хозяин стал бы торговать с другими странами рудой, ежели куда выгоднее сразу продавать серебро аль свинец. Но Бринер торгует. Пришлый он человек, потому спешит урвать, не жалеет чужого. Он не наших кровей, для него это не его земля.

– Головастый ты мужик. Русский.

– Будешь головастым, ежели со всяким людом встречаешься и от каждого хоть по росинке, да берешь.

Бричка подкатила к дому Силовых, его показали мальчишки. Федор вышел на крыльцо, надушенный и настороженный.

В деревне стоял перезвон молоточков: это мужики отбивали косы, готовились косить травы.

Приезжий поклонился, подал руку и сказал:

– Прибыл к вам, я горный инженер Ванин Борис Игнатьевич. Вы были с Арсеньевым в охотничьей команде, он вас рекомендовал мне как хорошего рудознатца. Вот вам письмо от Владимира Клавдиевича.

Арсеньев писал: «Я направил к Вам капитана Ванина Б. И. Спомоществуйте ему в его добрых делах, в поисках полезных ископаемых, нужных для России. Кланяюсь Вам и Вашему семейству. Капитан Арсеньев».

– Проходите в дом. Что бы вы хотели от меня?

– Быть моим проводником. Если есть вам известные рудные точки, то за плату прошу показать их.

– Есть и рудные точки и даже месторождения, кои я разведаль на глазок. Есть такое под боком у Бринера. Могу продать хоть сейчас. Хватит мне бродить зряшно.

– Капитан Арсеньев очень просил вас помогать мне.

– Ему верю, но вас пока не знаю.

Вошел отец Андрей Андреевич, степенно поздоровался, спросил:

– О чем речь?

– Да вот рудник продаю купцу.

– Погоди, погоди, ты уже сто раз надували, сейчас я не дам надуть. Что просишь за рудник?

– Пять тысяч золотом.

– Это ладно.

– Я принес оттуда образцы руд, берите их, делайте анализы, ежели гожи, то будем вести разговор дальше. Нет, то, знать, не сошлись, – твердо сказал Федор Силов.

– Хорошо, завтра же еду во Владивосток, оттуда в Хабаровск, сделаем анализ и через месяц дадим вам ответ.

Обедали молча. Не понравились друг другу рудознатец и горный инженер.

Но когда Федор дал еще полмешка образцов с других рудных точек, Ванин уже посмотрел на Силова ласковее.

В Хабаровске инженер просидел месяц над анализами руд, написал обстоятельный доклад генералу Крупенскому, просил денег на покупку месторождения, на создание в тайге своего разведывательного пункта.

Генерал Крупенской приехал. Он вместе с Ваниным прибыл в Пермское, чем переполошил весь уезд. Долго вели разговоры с Федором и его отцом. Решили строить в Широкой пади хутор, который был бы опорным пунктом, со штатом геологов, рабочих.

В Ольге открыли банковский счет на имя Андрея Андреевича Силова. Отпустили на постройку хутора пятьдесят тысяч рублей. Под боком у Бринера были поставлены разведочные работы на речке Медведке. Тот прислал нарочного к Федору Силову, просил перепродать месторождение за пятьдесят тысяч серебром. Силов ответил:

– Продам, так и скажите Бринеру, что продам, но прежде я его должен высечь всенародно.

Генерал Крупенской дал слово Силовым, что все найденное рудознатцем они будут покупать. Назначил Силовым оклады.

Успешно пошла разведка открытого месторождения. Быстро стал богатеть Андрей Андреевич. А Федор остался тем же. На нем те же ичиги, зипунишко, винтовка да конь таежный, который не хуже любого зверя ходит по тайге...

Конь уже съел в торбе овес. Федор Силов еще выпил воды. Решил трогать дальше. Он прошел и проехал немалый путь. Был в верховьях Журавлевки, по ней спустился к Каменке, а затем тропой добрался до этих лужков. Под Араратами надо осмотреть выходы коренных пород и выйти в Аввакумовскую долину, а там и дом – рукой подать.

Представил, как отец носится по хутору, который успел уже огородить высоким заплотом, гоняет строителей, ведь зима пришла. Летом он возил кирпич, стекло, другие строительные материалы из Владивостока. Сейчас занят постройкой каменных домов, чтобы все прочно, на века. Конечно, всех ругает, в том числе и сынов своих с невестками. Сразу расхотелось ехать домой. Но все же оседлал Карька.

Усмехнулся, вспомнив, как сердито фыркнул капитан, когда он ему сказал:

– Вот постареем с тобой, будем смотреть на эти горы, печалиться, а силов не будет сбегать к ним. Как говорят инородцы, эти горы поставлены здесь для радости и печали: молод – бегай, стар – печалься. Потому поспешай, капитан.

– Не учи, я и так без дела не сижу.

– А ты когда-никогда и посиди.

– А ты сидишь?

– Да недосуг все, – усмехнулся Федор...
Рудознатец посмотрел на скалы и тронул поводья.

8

Ехал даже ночью. Дремали сопки, звенела Медведка, кое-где уже подернутая льдом. К полудню выехал на чьи-то путики, конь зашагал бодрее. А вот и зимовье, новое, добротное. Отметил про себя, что строили бывалые охотники. На полянке стоял стожок сена, «Ишь, для коней приготовили. Молодцы! Чутка можно и взять». Привязал коня к дереву, задал сена. Сам же пошел в зимовье. Присел на нары, чтобы передохнуть, а потом уже заняться обедом.

За стенами слышались скрадывающие шаги. Распахнулась дверь. Окрик заставил Силова вскочить:

– Не секоти! Руки вверх! Стрелять буду! – крикнул Устин.

– Ну ты и напужал. Кончай, Устин, баловать ружьем-то. Это я, Федор Силов.

– Свой, идите, побратимы.

– Все камни ищешь?

– Да тем и занят. А вы что пужаете людей-то?

– То и пужаем, что кто-то здесь жил, насвинячил и не убрал за собой. Мясо стравили росомaxe. А потом слухай, Федор Андреевич, у нас такое дело, что страшно и рассказать. Узнал ли ты Арсе, который с Тинфуром-Ламазой спас вас от Замурзина?

– Узнал. Здравствуй, Арсе! Где тебя не видно?

– Жил на Щербаковке, потом ходи худой люди и всех нас убивай.

– Что-что?

– Слушай, Федор Андреевич, мы тебе все расскажем, но ты должен нам дать слово, что ты спасешь Арсе.

– Господи, да какой же разговор.

– Петыша, иди на тропу и глаз с нее не спущай. Ежели кого увидишь, то дуй сюда.

Устин рассказал что к чему, потом опросил:

– А как ты его можешь спасти?

– Возьму его помощником, и никто не узнает, кто он и откуда. Будет жить под боком самого пристава. А потом упрежу Ванина, он добрый, защитит. Только бы ваши туда руки не дотянули.

– Не прознают. А пока дознаются, то, может быть, Тарабанов себе шею сломает. Так ить вечно не будет тянуться. У каждой веревки есть конец.

– Арсе, а ты пойдешь ли ко мне в помощники? Все летичко будем в тайге, водить геологов, сами будем искать дорогие каменья.

– Пойду. Моя хоть куда ходи. Помирай не охота. Степанка Бережнов могу быть добрый, но могу быть плохой...

Ночь прошла в тревоге. Караулы несли поочередно. Наставник не такой дурак, чтобы днем подставлять себя под пули.

Утром пошел снег. Арсе и Федор собрались, попрощались и тронули в верховья Медведки, чтобы уйти от преследователей. Снег прикроет следы.

Охотники легли на нары и тут же с облегчением заснули. Судьба Арсе определилась. Звали они его на будущий год на охоту. Придет ли?

Проспали весь день. Стемнело. Устин вышел на улицу, послушал ночь и снова зашел в зимовье. Пусть теперь хоть сто человек идет. Снег вывалил в колено. Ни следочка не оставил. Поужинали, задремали. Проснулись от легкого скрипа снега. Дверь заложена на крючок. Накинули дошки и юркнули под нары – там у них тайный лаз. Встали за углами. Поднялась луна. Десяток теней окружали зимовье. Устин крикнул:

- Всем стоять! Поднять руки! Или мы будем стрелять! Ну!
- Не нукай, не запряг, – раздался спокойный голос наставника.
- А, тятя!
- Как же вы нас учуяли?
- Так вот и учуяли. У нас у каждого по-собачьему нюху.
- Маркел, Мефодий, осмотрите, нет ли других следов. Зови, сын, в свою хоромину. А ничо, ладно вы устроились. Молодцы! – говорил отец, воровато заглядывая под нары.
- Ты чего, тятя, у нас там тигров нет, – усмехнулся Устин.
- Да так, мало ли кто там может затаиться, время такое.
- Следов нет, все чисто, – доложил Мефодий Мартюшев.
- Лады. Теперь слушайте, побратимы, а не жил ли у вас Арсе? Давайте без шуток! – посуровел Бережнов.
- Нет, Арсе у нас не жил, но два брандахлыста три дня жили. Загадили все, мясо стравили росомахе и ушли.
- А вы где были?
- А мы ловили шесть ден королевского соболя. Покажи им его, Петьша.
- Охотники долго крутили в руках дорогую добычу, дули на серебристый мех, крякали. Санина перекосит, если узнает, что его соболь пойман.
- Та-ак! Значит, говоришь, проспали три дня, загадили все и ушли. Узнать бы, кто был, шкуру бы со спины спустил, – притворно говорил Бережнов.
- А мы знаем, тятя, кто был. У кого всегда унты стоптаны и заплатаны? Не знаешь? Да это же у лодырей Красильникова и Селедкина. Им лень кожу-то отмять да новые унты сшить, вот и ходят в старье.
- Ладно, корми. Оголодали. Знать, не было Арсе.
- Если бы был, то куда бы он девался? Сейчас в тайге в одиночку много не накукуешь. В одночасье окостыжишься.
- Да наврали они все, проспали в зимовье, а потом пришли, чтобы нас сбулгачить. Эхма, кому стали верить! – выдохнул Мартюшев.
- Да и оставить надо бы Арсешку-то, ничего он уже не сделает. Все похерено, все уже забыто.
- Может, кто и забыл, но Арсешка-то не забудет. Оставим. Господь с ним. Кормите!
- Уехали преследователи к обеду. Забрал Бережнов королевского соболя, чтобы потешиться над Сониным. Побратимы продолжали охоту, брали из ловушек колонков, на подсечку капканами и загоном соболей. К масленке возвращались домой. Конечно же здесь, на охоте, они никаких постов не соблюдали. Дома придется: впереди Великий пост перед пасхой.
- Завернули в зимовье Шишканова и Ковалья. Зимовье плохонькое, неуютное, стояло в глухом распадке, где и солнца мало. Банешки не было. Охотники были дома, тоже заканчивали охоту. Да и промыслили они мало. Где-то полста колонков и двух соболей. Была белка, но и ее не сумели добыть.
- Побратимы с грустью посмотрели на охотников. Устин тихо сказал:
- Чтобы быть охотником и рыбаком, надо родиться в тайге.
- А сколько же вы добыли?
- Мы что, у нас по двадцать соболей на каждого, нынче их прорва, да сто колонков на рыло. Вот и считайте, по пятьдесят рублей выйдет соболь по кругу, по пятерке колонок. Вот вам и денга.
- Мы тут порешили уже, что продадим добычу, купим еще одного коня и почнем заниматься извозом зимами. Возить есть кого.
- И то дело, – согласился Устин. – Дети ваши будут охотниками. А вы нет. Прощайте нето!

Побратимов хвалили. Сонин был «убит», с нарочитой обидой ворчал:

– Варнаки, моего соболя заловили. Ну погодите уж. Я вас обучил, я вас и разучу.

– А что добыли те два дружка?

– Вошей принесли. Степан Ляксеич им дал взгреву за обман. А может, и правда, был у вас Арсе? – пытливо смотрел в глаза Сонин.

– А ежели был бы, то ты бы стал убивать? – спросил Устин.

– Нет, ить я отказался идти на Арсе. Чего же еще? А потом моя стара мне бы глаза выцарапала, ежели что.

Наставник же побратимам сказал:

– Арсе у вас был. Вот его трубка, которую он заронил под нары. Куда он ушел?

– Ищите, – спокойно ответил Устин.

– Если вы нам не верите, дядя Степан, – так же спокойно ответил Петр, – то верьте тем двум предателям. Они и вас скоро продадут за пятак. Трубка могла быть и не Арсе. Сказано, что при нас не был, и нечего нас пытаться.

– Вот как заговорили! – насупился Бережнов.

– Так и заговорили, – огрызнулся Устин. – Тарабанов убил людей. Живет и здравствует. Арсе никого не убил, вы за ним гоняетесь. Передайте этим двум, что ежели увидим у нашего зимовья – уьем!

– Молчать, шанок, не позволю тьявкать!

– А мы не позволим гоняться за честным человеком. Уже не маленькие.

– Одно вас спасает, что не пойманы, а тем верить не всегда можно. Но если поймаем – берегитесь! Брысь отसेлева! Вожжей давно не пробовали?

– И не будем пробовать. Сами уже с усами. Придет час и вашего суда, судить будем и Тарабанова, и тех, кто его пригрел.

– Ах так! – Бережное схватил сына за волосы. Устин изловчился и укусил за руку отца. Вылетел из горницы, схватил тулупчик и убежал на улицу.

Степан схватил винчестер и бросился следом. Но его поймал в охапку Петр и, как ребенка, положил на лавку, с передыхом сказал:

– Не суетись, дядя Степан, ненароком и кости поломаю.

– Вот энто да-а! – протянул Бережнов. – Медведь! Как ты посмел своего наставника мять?

– Так и смел. За Устина десятерым головы сорву и за пазуху суну, пусть ходят без голов.

– Да-а! Выкормили жеребчиков, пора их и в хомут. Женить пора! – вскочил Степан Бережнов, ногами затопал.

Из его рук спокойно взял винчестер Журавушка, тихо сказал:

– Оружье само раз в год стреляет. Его место на кольшке. Вам уже сказал Петьша, что с нами шутковать не надо. Можем и взбрыкнуть. Ага. Пошли нето, побратим. Пусть поярится наш наставник.

Степан Бережнов смотрел на побратимов. Сел на лавку. Взял в руки лестовку и начал творить самую короткую молитву.

– Господи помилуй, господи помилуй... – ровно перебирали крепкие пальцы бисер лестовки: она хорошо успокаивает.

Глава четвертая. Зеленый клин – земля вольная

1

Старый пароход «Казак Хабаров» штормовал. Вот уже вторые сутки он шел из Владивостока, шел и шел на север, в бухту Ольги. Резал носом волны, качался. И вместе с ним качалось небо, качался берег. Небо серое от косматых туч. Берег, рыжий, темный, как косуля в линьку, насупленно смотрел на пароход, грозил пароходу скалами, а там пенился и рокотал прибой. Шторм крепчал. Слабые машины парохода уже не справлялись с ним, и пароход ушел штормовать в море. А море бурлило, будто кто-то огромным веслом мешал воду. На море шумно, на море тошно. И те, кто шел на этом пароходе, много раз поглядывали на берег, пока он был виден, и думали: «Эх, на землю бы, на эту рыжую от дубков и жухлых трав землю, к ноздреватому снегу, что лежит в ложках. Упасть на взлобок, раскинуть руки и задремать. Потом – в лесок, потом – в ложок к горбатым сопкам...»

Но пароход шел, изнывая от стонов и криков людских. Пропах сермяжным духом и потом. Тяжело ухал в провалы волн, надсадно выползал из них. Тяжело старому пароходу. Тяжело людям на нем. У всех осоловелые глаза. Ничто не радует: ни будущая воля, ни земля. Все задавила качка.

Над волнами стонали чайки. Громче всех стонала и низко кружила белая-белая чайка. Стонала и кружила над Терентием Маковым. И невдомек старому, что над ним стонала и плакала не просто чайка, а Пелагея-чайка. Ведь, по преданию моряков, души умерших в море превращаются в чаек. Терентий Маков не обращал внимания на стон чаек, а сидел у теплой трубы парохода нахохленный, похожий на подранка-баклана: голова на груди, высоко подняты плечи. Рядом с ним примостилась его дочь Груня. Зябко ежась, грустно смотрела на кипень волн.

– Мама! Мама! – шептала она пересохшими губами. А над головой мама-чайка что-то кричала, что-то силилась сказать, хотела дать совет, как быть и как жить. Но разве могут люди понять стон чаек? Когда они живы, когда они могут все сказать – и тогда не всегда понимают друг друга, будто говорят на разных языках.

Груня впала в короткое забытие. И увидела она не палубу, а парную смоленскую землю под ногами. Вон на берегу тихой речушки прилепился домик, старенький, кособокий, но свой. В этом доме и выросла Груша, как звала ее мать. Хорошо летом! Можно чуть пробежать по тропинке и с разбегу – в речку. А потом к маме, на поля, где она работает у кулака Ермилы. У них своей земли нет. Только огород. А о своей земле всю жизнь мечтали Грунины деда, отец и мать. О земле теплой, земле приветной...

Вспомнила Груня ласковые мамины руки, сухие губы и вечную тоску в глазах. Но мешает вспоминать своим стоном Пелагея-чайка. Кружит над просторным морем. Могила у Пелагеи – все море. И ни креста, и ни холмика. Записал в судовом журнале капитан долготу и широту, где похоронили Пелагею, – вот тебе могила и памятник надгробный.

– А в море холодно? – спросила отца Груня.

– Кака там разница, в земле тожить не тепло. Могила – чего же еще говорить. Ради твоего счастья поехали. Нам уж немного надо. Может, хоть ты поживешь по-людски, – вздохнул Терентий.

– Зачем мне такое счастье, ежели мама умерла? Без мамы не может быть и счастья. Все боишься, что нет у меня приданого? Без него бы вышла замуж. А здесь что ты мне дашь в приданое, землю, чтобы схоронить меня? Да? Так вона и море всех примет.

– Не дури! Не зови беду, – перекрестился Терентий. – И в кого ты такая удалась? Поперешная, а тонка как тростиночка. А мужику сильная баба нужна, чтобы при теле, дородная, чтобы при случае плуг тянула вместо кобылы аль борону волочила. Но ничего, на своей земле я тебя откормлю – будешь девка что надеть. Любой мужик позарится.

– Зря поехали. Могла бы я в город уйти, там парни за толстыми не гоняются. Была бы душевность.

Груня поднялась с котомки, неуверенно шагнула на палубе. Под дырявым зипуном и латаным сарафаном угадывалась стройность тела. Даже лапти не смогли скрыть ее маленькую, точеную ножку. На голове черный платок, как у старухи или монахини, повязанный наглухо, по самые глаза. А глаза, чистые, тревожные, как у испуганной оленухи, смотрели на волны. С такой же просинью, с прозеленью, как и море. Груня остановилась у лееров. Сквозь изморось и штормовой туман виделось ей, как мать, собираясь в дорогу, надсадно кашляла, засовывала в мешки нехитрую посуду, в деревянные сундуки – постель и одежду. Кричала:

– Фекла, а Фекла, возьми вона крынку, потом когда-никогда помянешь за упокой души!

Бабы говорили Терентию:

– Не трекался бы ты с места, старик. Не сдюжит твоя стара дальней дороги. Шутка ли – ехать в конец света!

– Сдюжит. Хватит нам ходить в батраках. Всю жизнь на чужой земле спину гнем, хочется своей земли. Хоть разок просеять ее сквозь пальцы.

– Умрет Пелагея. Грудная у нее болезнь. Кровями харкает.

– Казенный кошт обещали. Груньку надеть замуж отдавать. Поедем. Там мы должны зажить славно. Четыреста рублев коштовых и дорога бесплатная. Таких денег я за всю жизнь не держал в руках. Поедем. Чего уж там. Где умирать, как умирать – дело второе.

И поехали. Чугунка... Вонючие вагоны, ветер во все щели. Люди спят вповалку на нарах и на полу. Умидали старики, дети, парни и девушки, даже мужики. Но Пелагея держалась. Хотя с каждым днем все больше и больше слабела. Но все же хватило сил проехать Сибирь вольную, Приамурье, добраться до конца земли. Увидеть море. А потом проплыть на пароходе. И вот пароход трянуло на боковой волне, Пелагея сильно качнулась, ничком упала на дощатую палубу, и душа вон! Покойник в море! Мужики бросились к капитану, просили причалить к берегу, чтобы похоронить усопшую по-христиански.

Капитан устало посмотрел на мужиков, усмехнулся и сказал:

– Судно – не шлюпка. Да и честь тому, кто почил в море. Морячкой будет. Эх вы, странники неумные, бедолаги!

– Нельзя в воду. Вода – это богородицыны глаза. Грех!

– Безгрешное это дело. Да и пусть глаза этой старой шлюхи посмотрят еще раз, как мыкается люд русский. И все потому, что нет порядка на земле. Порядок на море. Хоронить по морскому обычаю! – приказал капитан.

Матросы умело завернули труп в парусину, уложили на доску, привязали к ногам прогоревший колосник из топки котла, плюгавый попик прочитал заупокойную молитву, благословил рабу божию на райское житие, махнул рукой – и тело скользнуло по доске в море, в кипень волн. И над морем, это видела Груня, видели моряки, тут же закружила белая чайка...

Одно видение проходило, тут же подкатывалось другое. Мучил озноб, тошнота. Вернулась к отцу, отец грубовато, по-мужицки, привлек ее к себе, сказал:

– Не печалься, ей уже все едино. Все мы будем там, но не в одно время, – махнул он рукой в небо. – Надо думать, как живые, о живом. Земли дадут, коней купим, одену тебя в шелка... Одни остались, теперь надо держаться друг за друга. На бога надейся, но сам не плошай. Вдвоем мы перевернем эту землю. Эко сколько ее пустошной-то. Будем надеяться только на себя.

Из трюма вылез долговязый и по-мальчишески угловатый Федька Козин. Он ехал с Груней в одном вагоне. Там он был шустр, весел, а сейчас еле добрался до борта, рыгал и стонал:

– Ой, моченьки нету! Все нутро вывернуло!

– Иди сюда. Здесь тепло у трубы-то, и на ветру тебе полегчает, – позвала Груня.

Федька дополз до трубы, из которой клубами валил дым, калачиком свернулся у ног девушки, будто задремал. Груня тонкими пальцами перебирала его кудряшки, жалеючи ласкала. «А чего же не пожалеть, ведь вместе всю землю расейскую проехали».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.